Эдуард Тополь

# Мой прекрасный и проклятый «Пятый параграф»

*Часть сборника*
*Ты самая любимая (сборник)*

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

«Еще три часа назад под Греноблем мы фотографировались на фоне сказочных пейзажей, украшенных змейками горнолыжных подъемников над проплешинами лесистых горных склонов. Романтические виды альпийских гор, знакомые по десяткам фильмов, выскакивали из-за каждого поворота, солнце плясало на островерхих черепичных крышах модерновых шале, сверкало в цветных витражах придорожных таверн и ресторанчиков и играло с нами в прятки, ныряя под ажурные мосты над горными пропастями. Все было уютно, обжито, цивилизовано, асфальтировано, размечено дорожными знаками и предупредительно выстелено мостами, туннелями, сетчатыми ограждениями от камнепадов и крутыми улавливающими тупиками. Но за Шамбери, как раз когда кончилась автострада, а дорога, сузившись до однорядной «козьей тропы», запетляла в разреженном от высоты воздухе, – именно тут все и началось!..»


- Эдуард Тополь
  - Часть первая
  - Часть вторая
    - Имя
    - Деруны
    - Стихи
    - Школа
    - Реплика
    - Полтава
    - На таран!
    - Медалист
    - Аликперли
    - Одесские рассказики
    - Признание
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

# Эдуард Тополь
# Мой прекрасный и проклятый «Пятый параграф»

# Часть первая
# Еврейский триптих

«АиФ», 15.09.1998 г.:

**ВОЗЛЮБИТЕ РОССИЮ, БОРИС АБРАМОВИЧ!**

*Открытое письмо Березовскому, Гусинскому, Смоленскому и остальным олигархам*

Все началось с факса, который я послал Б.А. Березовскому 26 июня с.г. В нем было сказано: «Уважаемый Борис Абрамович! По мнению моих зарубежных издателей, успех моих книг вызван напряженным интересом западного читателя к реальным фигурам, творящим современную российскую историю: Брежневу, Андропову, Горбачеву, Ельцину и их окружению. Сейчас я приступаю к работе над книгой, завершающей панораму России конца двадцатого века, и совершенно очевидно, что лучшего прототипа для главного героя, вовлеченного в захватывающий поток нынешних российских катаклизмов, чем Б.А. Березовский, и лучшей драматургии, чем Ваша феноменальная биография, профессиональный писатель не найдет и даже искать не станет. Надеюсь, Вы понимаете, насколько значимы могут оказаться наши встречи для построения автором образа человека, влияющего на ход русской истории конца двадцатого века…»

Через два дня я был принят Березовским в его «Доме приемов» на Новокузнецкой, 40. В старинном особняке, реставрированном с новорусским размахом и роскошью, вышколенные секретари подавали мне чай, а Борису Абрамовичу – телефонные трубки и записки от министров и руководителей администрации президента. В ответ на мою благодарность за аудиенцию в столь напряженное время Б.А. заметил, чуть усмехнувшись:

– Вы же все равно будете писать…

Я понял, что этот прием вынужденный, и перешел к сути своего визита:

– Борис Абрамович, истинный замысел моей книги вот в чем. На телевидении, как вы знаете, есть программа «Куклы». Там действуют куклы Ельцина, Черномырдина, Куликова и прочие. Но главный кукловод – за экраном, и его фамилия Шендерович. А в жизни есть российское правительство – Ельцин, Кириенко, Федоров… Но главный кукловод имеет длинную еврейскую фамилию – Березовско-Гусинско-Смоленско-Ходорковский и так далее. То есть впервые за тысячу лет с момента поселения евреев

в России мы получили реальную власть в этой стране. Я хочу спросить вас в упор: как вы собираетесь употребить ее? Что вы собираетесь сделать с этой страной? Уронить ее в хаос нищеты и войн или поднять из грязи? И понимаете ли вы, что такой шанс выпадает раз в тысячу лет? И чувствуете ли свою ответственность перед нашим народом за свои действия?

– Знаете… – затруднился с ответом Б.А. – Мы, конечно, видим, что финансовая власть оказалась в еврейских руках. Но с точки зрения исторической ответственности мы на это никогда не смотрели…

– И никогда в своем узком кругу не обсуждали эту тему?

– Нет. Мы просто видели эту непропорциональность и старались выдвинуть во власть сильного олигарха русской национальности. Но из этого ничего не вышло.

– Почему? И вообще, как так получилось, что все или почти все деньги этой страны оказались в еврейских руках? Неужели нет талантливых русских финансистов? Ведь в старой России были недюжинные коммерческие таланты – Морозов, Третьяков…

– Знаете, – сказал Б.А., – конечно, талантливые банкиры есть и среди русских. Но в этой профессии второй главный фактор – наличие воли. Евреи умеют проигрывать и подниматься снова. Это, наверное, наш исторический опыт. Но даже самые талантливые новые русские – нет, они не держат удар, они после первого проигрыша выпадают из игры навсегда. К сожалению…

– Допустим. Но раз уж так случилось, что у нас вся финансовая власть, а правительство состоит из полуевреев Кириенко и Чубайса, вы ощущаете всю меру риска, которому вы подвергаете *наш* народ в случае обвала России в пропасть? Антисемитские погромы могут превратиться в новый Холокост.

– Это исключено, – сказал Б.А. – Знаете, какой сейчас процент антисемитизма в России? Всего восемь процентов! Это проверено научно!

…Борис Абрамович, я не стану сейчас публиковать все содержание наших встреч. Не в них дело. А в том, что за два месяца, прошедших со дня нашего знакомства, Россия таки ухнула в финансовую пропасть и стоит сейчас в одном шаге от кошмара социального безумия. А вы – я имею в виду и лично вас, и всех остальных евреев-олигархов – так и не осознали это как ЕВРЕЙСКУЮ трагедию. Да, так случилось, что при распаде СССР и развале советского режима вы смогли оказаться ближе всех к пирогу. Талант, еврейская сметливость и сила воли помогли вам не упустить удачу и приумножить ее. Но если вы думаете, что это ваша личная заслуга, вы трагически заблуждаетесь! А если

полагаете, что просто так, ни за что ни про что избраны Богом стать суперфинансистом и олигархом, то вы просто тяжко грешите. Да. Мы избранники Божьи, и мы действительно избранный Им народ, но мы были избраны не для нашего личного обогащения, а токмо для того, чтобы вывести народы мира из язычества и варварства в мир десяти заповедей цивилизации – не убий, не укради, не возжелай жену ближнего своего… И этот процесс еще не закончен, о нет! Посему нам и даны наши таланты, сметливость, быстрота ума и та самая воля, которой вы так гордитесь. Когда каждый из нас окажется там, наверху, Он, Всевышний, не станет спрашивать, что плохого или хорошего мы совершили на земле. Он задаст нам только один вопрос, Он скажет: «Я дал тебе такой-то талант, на что ты его употребил? Ты употребил его на приобщение к цивилизации того народа, к которому Я тебя послал, к его процветанию и гуманности, или ты воспользовался Моим даром для того, чтобы набить свой сейф миллиардом долларов и трахнуть миллион красивых женщин?» *И отвечать мы будем соответственно размеру полученного Дара и нашим способам его употребления.*

Но мы с вами, конечно, атеисты, Борис Абрамович. И ваши друзья-олигархи тоже. Поэтому загробные кары нам не страшны, мы выше этих детских сентенций. Как сказано у классиков, не учите меня жить, лучше помогите материально. Так вот, я хочу сказать вам совершенно материально: забудем на минуту о десятках тысяч евреев, которых при первой же волне погромов вырежут новые российские черносотенцы, забудем об их детях и матерях. Но даже если, забыв о них, вы успеете улететь из России на своих личных самолетах, вы все равно будете конченными людьми – вы потеряете доступ к рычагам власти и экономики этой страны, вы станете просто беженцами на иноязычной чужбине. Для вас это, поверьте моему опыту, будет смерти подобно – даже при наличии ваших счетов в швейцарских банках.

И потому тот факт, что ни свой Божий дар, ни свои деньги вы все еще не употребили на благо этой страны и этого народа, – это самоубийству подобно.

А теперь вспомним – все-таки вспомним, Борис Абрамович, обо всех остальных евреях и полуевреях, населяющих эту страну. Новые русские чернорубашечники и фашисты восходят сегодня на тучной ниве российской беды, и если вы хотите знать, чем это может кончиться, возьмите кинохронику Освенцима и посмотрите в глаза тем детям, которые стоят там за колючей проволокой. А ведь немцы были великой и цивилизованной европейской нацией, ни один их поэт не сказал про них: «Страшен немецкий бунт, бессмысленный и беспощадный». Так неужели вы всерьез верите,

что в России сегодня всего лишь восемь процентов антисемитов? Или вы думаете, что погром – это уже исторический фантом, архаизм и, как вы выразились, «это исключено»?

Хрена с два, Борис Абрамович! В 1953 году я пережил погром в Полтаве – тогда, в период «дела врачей», на полтавском Подоле уже начались настоящие погромы, и мы, несколько еврейских семей в центре города, забаррикадировавшись в квартирах, трое суток не выходили на улицу, а когда вышли, то прочли надпись на своем крыльце: «Жиды, мы вашей кровью крыши мазать будем!» И поэтому я знаю и помню, как это легко начинается: только дай нищему и злому гарантию ненаказуемости, он пойдет жечь, насиловать и грабить везде – и в Полтаве, и в Москве, и в Лос-Анджелесе.

Я родился в Баку, Борис Абрамович, и там же – после детства в Полтаве – прошла моя юность. И у меня есть друг, он был фантастически богат даже в советское время, то есть тогда, когда вы жили на 120 рэ кандидата наук, а для плотских утех пользовались однокомнатной квартирой своего приятеля. Однажды домашние разбудили моего друга среди ночи, сказали: там пришли какие-то люди, хотят с тобой поговорить. Он встал, оделся, вышел. В прихожей стояли две рыдающие азербайджанки. Они сказали: «Леонид, помогите нам! Наш отец умер, он лежит в морге, в больнице. И врачи собираются его препарировать. Но наш мусульманский закон запрещает это. Мянулюм, умоляем: остановите их, помогите нам получить тело нашего отца не изуродованным!» Мой друг поехал в больницу, нашел дежурного врача, тот оказался азербайджанцем. И мой друг сказал ему: «Как же ты, мусульманин, можешь допустить, чтобы я, еврей, приехал просить тебя уважать твой мусульманский обычай?!» Конечно, он дал тому врачу взятку и выкупил тело отца тех женщин. Иначе и быть не могло – те женщины знали, к кому они шли за помощью, у моего приятеля была всебакинская репутация благотворителя. Знаете, чем это обернулось? Когда годы спустя в Баку начались армянские погромы, его возлюбленная, армянка, бежала из дома и пряталась в квартире своей бабушки. Он приехал за ней, чтобы вывезти ее из Баку. Но по дороге в аэропорт она сказала, что хочет последний раз взглянуть на свой дом. «Он весь разбит, разорен, я уже был там», – сказал ей Леня. «Все равно. Пожалуйста! Я хочу на прощание взглянуть на свой дом…» Он привез ее к дому. Забор был сломан, сад разбит, дом сожжен и разрушен. Она ходила по руинам и собирала семейные фотографии и подстаканники. И в это время во двор ворвалась толпа разъяренных погромщиков – кто-то из соседей сообщил им,

что «армянка вернулась». «Ты когда-нибудь видел лицо разъяренной толпы? – рассказывал мне Леня. – Они шли прямо на нас, моя невеста стояла у меня за спиной, и я понял, что сейчас мы погибнем. Их было двести человек, в руках – топоры, дубины, обрезки труб. У меня был пистолет, но я видел, что не успею даже руку сунуть в карман. И вдруг в тот последний момент, когда кто-то из них уже замахнулся дубиной или топором, вперед выскочил какой-то старик и закричал по-азербайджански: „Стойте! Я знаю этого человека! Этот человек всегда делал нам только добро! Клянусь предками – весь Баку это знает! Он должен уйти отсюда живым!“ И представляешь, они – погромщики! – раздвинулись, они сделали живой коридор, и мы с Адой прошли сквозь эту толпу к моей машине, сели и уехали в аэропорт».

Вы же умный человек, Борис Абрамович, вы уже поняли, почему я рассказал о своем друге. ТАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ КАЖДЫЙ ЕВРЕЙ. Деньги, которые дает нам Бог при феодализме ли, социализме или капитализме, даны не нам. А – через нас – тем людям, среди которых мы живем. Только тогда наши прибыли будут приумножаться – по воле Его. И только тогда мы – евреи.

Сегодня народ, среди которого мы живем, в настоящей беде. В стране дефолт, нищета, хаос, отчаяние, голод, безработица, мародерство чиновников и бандитов. Наши возлюбленные русские женщины – на панели. Так скиньтесь же, черт возьми, по миллиарду или даже по два, не жидитесь и помогите этой нации на ее кровавом переходе от коммунизма к цивилизации. И скиньтесь не только деньгами – скиньтесь мозгами, талантами, сноровкой, природной и Божьей сметливостью, употребите всю свою силу, волю, власть и богатство на спасение России из пропасти и излечение ее от лагерно-совковой морали и этики. Люди, которых вы спасете, оградят нас и вас от погромов, а матери ваши, ваши еврейские матери, скажут вам тихое «мазул тоф!».

А иначе какой-нибудь очередной Климов напишет роман «Еврейская власть» – об истреблении евреями русского народа. Вы этого хотите, Борисы Олигарховичи?

«АиФ», № 46, 1999 г.:

**ГОД СПУСТЯ, ИЛИ ПИСЬМО РОСТРОПОВИЧА**[1]

– Слава, это Тополь! Мы попали в грозу и не успеваем…

– А где ты?

– Во Французских Альпах. Тут такой ливень – дороги не видно!

– И когда ты приедешь?

– Ну, нам еще двести километров, под дождем.

– А я ушел из гостей. И там не пил, чтоб с тобой… – В голосе Ростроповича было по-детски искреннее огорчение.

– Я понимаю, Слава. Извини. Зато я первый поздравлю тебя с днем рождения – мы будем утром.

– Утром я не смогу и рюмки, у меня в десять репетиция.

– Будем пить чай. В девять, о'кей?

– Нет, приходи в восемь, хоть потреплемся. Какая жалость!..

– Я сам в отчаянии. Но что делать? Разверзлись, понимаешь, хляби небесные. Спокойной ночи, с наступающим тебя днем рождения! – И я выключил мобильный телефон и покосился на Стефановича.

– Да, подвел ты друга! – сказал Стефанович. Он вел машину, подавшись всем корпусом вперед, потому что метавшиеся по лобовому стеклу «дворники» не успевали справляться с потоками воды, и мощные фары его «БМВ» не пробивали этот ливень дальше метра.

– Но кто мог это предположить?..

Действительно, даже метеорологи не ждали этот циклон, налетевший на Европу откуда-то из Гренландии. Еще три часа назад под Греноблем мы фотографировались на фоне сказочных пейзажей, украшенных змейками горнолыжных подъемников над проплешинами лесистых горных склонов. Романтические виды альпийских гор, знакомые по десяткам фильмов, выскакивали из-за каждого поворота, солнце плясало на островерхих черепичных крышах модерновых шале, сверкало в цветных витражах придорожных таверн и ресторанчиков и играло с нами в прятки, ныряя под ажурные мосты над горными пропастями. Все было уютно, обжито, цивилизовано, асфальтировано, размечено дорожными знаками и предупредительно выстелено мостами, туннелями, сетчатыми ограждениями от камнепадов и крутыми улавливающими тупиками. Но за Шамбери, как раз когда кончилась автострада, а дорога, сузившись до однорядной «козьей тропы», запетляла в разреженном от высоты воздухе, – именно тут все и началось! Будто разом сменили декорацию или кто-то капризно плеснул на сусально-киношный пейзаж фиолетовой краской грозовых туч. Выскочив из 17-километрового туннеля между французским Модане и итальянской Бардонеччией, мы оказались словно не в Италии, а под натовской бомбежкой в Югославии. Разом почерневшее небо сначала сухо треснуло угрожающими громами, а затем густой шрапнелью на нас обрушился не дождь, не ливень, а нечто совершенно дикое и архаически нецивилизованное. Какие тут, к черту, спичечно-

игрушечные усилия человеческой инженерии! Мы оказались наедине с Ее Всемогуществом Природой, разгневанной до остервенения и битья всего и вся – именно вокруг нашей машины. Узкую змейку дороги стало видно только изредка, при пикирующих на нее стрелах молний, которые лупили в асфальт буквально перед радиатором и сопровождались таким оглушительным громом, что мы невольно закрывали глаза. Громовержец целил в нас – это было совершенно ясно, однозначно, неоспоримо, и в такие минуты особенно остро ощущаешь свое родство с доисторическими предками, которые сиротно жались в пещерах при таких же грозах. Как высоко мы вознеслись над ними, и как недалеко мы от них ушли! Оглушенные и ослепшие в своей скорлупке по имени «БМВ», мы плелись в этой хлесткой дождевой темени со скоростью 20 километров в час, ощупью держась за ниточку дороги и ожидая, что следующая молния угодит в нас уже без промаха. Лишь изредка, на прямых и освещенных фонарями участках шоссе, Саша осторожно повышал скорость.

– Это ужасно, – сказал я. – Слава там без Галины Павловны. И представляешь – из-за нас просидит весь вечер в одиночестве. Накануне своего дня рождения! По моей вине!

Саша не ответил. Дорога, виляя, подло выскакивала то слева, то справа столбиками боковых ограждений буквально в метре от переднего бампера. Я то и дело рефлекторно жал правой ногой на воображаемый тормоз. Дорожный щит, выскочив справа, сообщил, что до Турина пятьдесят километров, а до Милана сто девяносто. Но с потерей высоты дорога наконец расширилась, мы опять оказались на шоссе.

– К часу ночи будем в Милане…

– Дай Бог в два, – уточнил Саша. – А как ты подружился с Ростроповичем?

Я усмехнулся:

– Это не любовная история, Саша.

– Ничего. Сегодня у нас Ночь откровений.

– Ты прав. Ладно. Ты помнишь мое письмо Березовскому и другим евреям-олигархам в «Аргументах и фактах»? Оно было напечатано 15 сентября прошлого года, за день до самого главного еврейского праздника – Судного дня. По закону наших предков, принятому ими у горы Синай, в эти Дни Трепета каждый еврей обязан накормить голодного и одеть нищего. Обязан, понимаешь? И я написал своим братьям по крови, что миллиарды долларов, которые они обрели в России, не упали на них за какие-то особые их таланты – никто из них ни Билл Гейтс и даже не Тед Тернер. Они сделали эти деньги в России – не мое дело на

чем, но в святой для евреев день они могут и должны помочь этой нищей стране – ведь всего месяц назад, 17 августа, вся Россия ухнула в катастрофу национального кризиса, дефолта, и, по русской традиции, винить в этом будут евреев. Ты же знаешь, в России всегда и во всех бедах винят кого-то – татар, американцев, евреев. Только не себя. Так и тут – падение в экономический кризис чревато, писал я, вспышкой антисемитизма. Помогите нищим, накормите голодных, это ваш долг перед своим народом – вот, по сути, и все, что я сказал. Разве не могли они сделать, как Ян Курень в Польше десять лет назад, – взять у армии полевые кухни и кормить на улицах голодных людей? Разве так уж трудно одеть детей в детских домах и приютах? Но, Господи, что тут началось! Ты не можешь себе представить, сколько собак – и каких! – на меня спустили! И не столько в России, сколько в русскоязычной прессе Израиля и Америки! Меня назвали провокатором погромов, наемником фашистов, наследником Гитлера, духовным отцом Макашова. В течение месяцев мое имя не сходило со страниц газет. «Позор Тополю!», «Политический дикарь», «От погромщиков не откупиться», «Боже, спаси Россию от Тополя!», «Тополя нужно повесить, а его книги сжечь!»… Сестра позвонила из Израиля и сказала, что боится за мою жизнь. Тетя из Бруклина сообщила, что плачет пятый день, потому что по местному русскому радио и телевидению меня день и ночь проклинают ведущие публицисты. От Брайтона до Тель-Авива газеты печатали развороты с коллективными письмами читателей, которые объясняли мне, какой я мерзавец и сколько добра евреи сделали России. В Москве делегаты Еврейского конгресса дружно клеймили меня позором. Знаменитый певец и мой соплеменник по «горячей линии» «Комсомольской правды» объяснил миллионам читателей, что я «дешевый провокатор»…

Конечно, я понимал, что это издержки корпоративного страха моего народа и нашего еврейского экстремизма, ведь я и сам экстремист. Именно такие экстремисты-от-страха даже распяли когда-то одного еврея. Но что из этого вышло? Чем это обернулось для евреев? И вообще винить меня в новой вспышке антисемитизма – все равно что шить провокацию плохой погоды матросу, кричавшему с мачты о приближении грозы и шторма.

Но так или иначе, это было похлеще грозы, которую мы проехали. Я перестал выписывать русские газеты, не слушал русское радио. Но когда на тебя обрушивается такой поток грязи – да еще сразу с трех континентов! – трудно сохранять рабочую форму. Даже если считаешь, что это полезно для творчества, что я на своей шкуре испытываю то, что пришлось испытать Пастернаку, когда вся советская пресса печатала коллективные

письма читателей: «Мы Пастернака не читали, но считаем, что ему не место в Советском Союзе!..» Я не сравниваю себя с гением, да и поводы были разные, но ощущения от плевков и битья камнями – близкие. В будущем, думал я, это ощущение пригодится для романа о каком-нибудь изгое общества…

И вот теперь представь, что этому изгою, «подонку», «предателю» и «провокатору», заплеванному всей эмигрантской прессой от Израиля до Австралии, вдруг звонят из Москвы, из «АиФ», и говорят:

– Пожалуйста, включите факс-машину, сейчас вам из Парижа пришлет письмо Мстислав Ростропович.

И действительно, через пятнадцать минут из факс-машины поползла бумажная лента, а на ней – летящие рукописные строки великого музыканта нашего века.

Старик, я не имею права публиковать это письмо, потому что оно – личное. Но тебе я могу пересказать его близко к тексту. В нем было сказано: дорогой господин Тополь, дорогой Эдуард, дорогой друг! Сегодня я прилетел из Тель-Авива, где играл концерт, и моя жена Галина дала мне «АиФ» с вашим открытым письмом и велела прочесть. Но было много дел, я прочел его только в два часа ночи, когда лег в постель. И – расплакался, как ребенок. И, понимая, что уже не усну, уселся писать вам. Я стараюсь не говорить о том, что мы с Галей делаем в области благотворительности, потому что мы это делаем для себя, для ощущения своего присутствия и сопричастия к тому, что происходит сейчас в России…

Тебе, Саша, я могу объяснить, что значит это «сопричастие», – Галина Павловна Вишневская помогает продуктами, одеждой и мебелью детскому дому в Кронштадте, Ростропович после премьеры «Хованщины» в Большом театре оставил свой гонорар в банке, и на эти деньги уже три года живут двадцать два музыканта оркестра Большого театра. А все 250 тысяч долларов его премии «Глория» идут на выплату стипендий двадцати трем студентам Московской консерватории. И еще они регулярно отправляют тонны – тонны, старик! – продуктов в различные детские дома и больницы, и туда же – медикаменты на миллионы долларов…

Саша, пойми, он не хвалился этим, он написал, что они с Галей просто хотят «чувствовать себя **людьми среди тех своих соотечественников**, которые находятся в тяжелейшем положении».

Но ведь и я написал свое письмо, вступаясь за **свой** народ и ради того, чтобы мои баснословно богатые братья по крови стали **людьми среди людей**. Я не мог не крикнуть им об этом. Разве

они бедней Ростроповича?

А Ростропович в конце письма написал мне, что он потрясен моей смелостью. Которую, между прочим, главный редактор одной якобы независимой газеты назвал глупостью, а бывший «главный» советский певец – оплаченной провокацией.

Но я признаюсь тебе, Саша, это не была ни смелость, ни глупость, ни тем более какая-то рассчитанная акция. Эта статья была написана просто по вдохновению – ее буквально вдохнули в меня среди ночи, вдохнули свыше, продиктовали. Я, как под диктовку, написал ее на одном дыхании и без всякой правки отнес в редакцию. Думая по наивности, что вслед за мной с таким же призывом к олигархам русской национальности обратятся мои братья-славяне Слава Говорухин или Олег Табаков. Этого не случилось – к моему полному изумлению. Зато теперь посреди вселенской хулы я стоял над своей факс-машиной и читал последние строки письма Ростроповича. Там было написано его рукой и его летящим почерком: «Об одном очень Вас прошу – если где-нибудь когда-нибудь будут у Вас неприятности в связи с этой публикацией – дайте мне знать. А если когда-нибудь при моей жизни будет вблизи Вас погром, я сочту за свой долг и за честь для себя встать впереди Вас. Обнимаю Вас с благодарностью и восхищением, всегда Ваш Ростропович, а для Вас – просто Слава…»

Саша, я получил это письмо 5 октября – за три дня до своего дня рождения. И это стоило всех поздравлений! Скажу тебе как на духу – ведь сейчас у нас Ночь откровений, – если бы мне сказали сегодня: не пиши своего письма олигархам, не подставляйся под этот огнемет проклятий, я бы все равно написал. И потому, что не мог не писать, и еще потому, что без той публикации не получил бы письма Ростроповича. Дело не в том, что это, конечно, ужасно лестное, просто замечательное письмо великого музыканта и не менее великой личности – человека, который вопреки всей мощи советской империи дал в свое время кров и пристанище великому изгою этой власти Александру Солженицыну. Нет, дело не в этом. А в том, что ***именно это письмо делает меня Евреем***. Понимаешь, о чем я? Да, я еврей и горжусь этим, как высоким званием, и пишу об этом в своих книгах с гордостью и даже с хвастовством. И когда я восхваляю в этих книгах наш ум и половую мощь, ни одна еврейская газета не оспаривает меня, хотя среди евреев полно и дураков, и импотентов. Зато стоило мне призвать своих богатых собратьев по крови к благотворительности, как меня прокляли, предали анафеме, назвали юдофобом и антисемитом. Но я думаю, что не им судить. Даже если они все в ногу, а я – не в их ногу, я еврей не по их суду

и не тогда, когда хожу в синагогу. А тогда, когда меня, ***как еврея***, уважают и ценят лучшие люди других народов – и особенно того народа, среди которого мы родились. И если сам Мстислав Ростропович готов защитить меня от погрома, то я – настоящий еврей, истинный! Да будет это, кстати, известно тебе – наполовину русскому, на четверть украинцу и на четверть поляку.

– Я это учту, старик… – усмехнулся Саша. – А у этой истории есть продолжение? Ты ответил на это письмо?

– Продолжение этой истории случилось в Москве, в декабре, в день рождения Александра Солженицына. В честь его восьмидесятилетия Ростропович прилетел в Москву и давал концерт в Большом зале Московской консерватории. Я в те дни был в Москве по своим литературным делам. И конечно, приехал в консерваторию. Но если ты помнишь, в тот день в Москве был ужасный снегопад, и я больше часа ехал машиной от Красной Пресни до консерватории. И опоздал аж на сорок минут! Оправданием мне может служить только то, что из-за этого снегопада опоздал не я один, а даже жена юбиляра! И все первое отделение Александр Исаевич просидел один, рядом с пустым креслом жены. И с лицом, окаменевшим от обиды, – ведь он никуда и никогда не ходит без нее. А тут – на концерте в его честь! под объективами телекамер! на виду у всей московской элиты и самого Ростроповича! – он сидел в одиночестве. Можешь себе представить его лицо?!

Опоздав на сорок минут, я уже не пошел в администрацию за билетом, а, чтоб не терять время, по какой-то немыслимой цене купил с рук простой входной и побежал по лестнице в зал. Но все двери в зал были уже закрыты, их охраняли суровые билетерши. Тогда я нырнул в дверь служебного входа за кулисы, поднялся по лестнице куда-то наверх, в гримерные. И оказался вдруг прямо в том узком коридорчике, который ведет от гримерных на сцену.

– Где тут комната Ростроповича? – спросил я у какой-то администраторши.

– Вас туда не пустят, – сказала она. – Но стойте здесь, он сейчас пойдет на сцену.

И действительно, буквально через минуту в глубине коридора возник Ростропович в обнимку со своей виолончелью. Он шел быстро, стремительно – навстречу аплодисментам, которые неслись через сцену из зала. А он, насупившись, смотрел не вперед и не себе под ноги, а куда-то в себя, внутрь. Словно уже был до макушки наполнен музыкой, которую нельзя расплескать. И свою огромную виолончель тоже нес не как тяжесть или груз, а с той нежной силой, с какой я ношу своего весьма увесистого сына.

Мне бы, конечно, не встревать поперек его пути в эту святую для него минуту! Но я встрял. Я шагнул к нему от стены и сказал:

– Мстислав Леопольдович, я…

Он пролетел мимо, даже не поведя зрачком в мою сторону!

Наверное, на моем лице отразилось такое унижение, что стоящая рядом со мной администраторша сказала:

– Не обижайтесь. Он вас просто не слышал. Вы приходите в антракте.

Я ушел вниз, в буфет, взял коньяк и, медленно цедя его, думал, не уйти ли мне отсюда к чертям собачьим? Зачем я пришел? Я не мальчишка, чтобы стоять у стены. Да, у Ростроповича была сентиментальная минута, когда он читал мое письмо олигархам. Да, как человек эмоциональный, он прослезился и даже написал мне несколько возвышенных строк. Но помнит ли он об этом? И на фиг я ему нужен? Что, собственно, мне нужно от него? А что, если он уже раскаивается в том, что писал мне? Что, если он будет со мной сух и вежлив – на бегу, мельком, ведь сегодня юбилей его друга – и какого друга! Так до меня ли ему? Ведь еще один его жест невнимания, равнодушия – и все, это перечеркнет его письмо! И с чем я тогда останусь? С эпитетами эмигрантской прессы?..

Но видимо, коньяк был твоими французами придуман не зря. При его поддержке я дождался антракта и снова поднялся за кулисы, к гримерным. Там была уже просто толпа! Журналисты, фотографы, музыканты, какие-то дамы с цветами, оркестранты во фраках – толчея ужасная! Но я протиснулся в глубину коридора, к комнате маэстро. Тут, однако, стоял заслон посерьезнее – гренадеры-телохранители.

– Мстислав Леопольдович меня приглашал…

– Даже не думайте! Только после концерта!

– Просто я опоздал из-за снегопада…

– Пожалуйста, освободите коридор! – Высокий и плечистый парень смотрел на меня сверху вниз такими стальными глазами, что я понял: это либо ФСБ, либо Управление по охране президента. Не меньше.

Я повернулся и пошел прочь, но тут же увидел спешащую к Ростроповичу Вишневскую. В зеленом парчовом и шитом золотом платье и в такой же шапке, отороченной горностаем, она царственной походкой шла сквозь расступающуюся толпу.

– Галина Павловна, я Эдуард Тополь, здравствуйте.

– Ой, здравствуйте! Приходите после концерта прямо на банкет, вот в эту комнату. А сейчас он просто ничего не видит и не слышит, ведь ему играть. Понимаете?

– Понимаю, Галина Павловна. Спасибо.

И я пошел по лестнице вниз, пять этажей пролет за пролетом и прямиком – в раздевалку. Левая рука уже держала наготове номерок от куртки, а правая ощупывала, сколько в кармане денег на выпивку в каком-нибудь кабаке. Денег было немного, но в «Экипаже» на Спиридоновке меня знают и принимают мою «Визу». А уж емкостей моей «Визы» мне на сегодня хватит…

Чья-то тяжелая рука легла на мое плечо и легко развернула меня на сто восемьдесят градусов. Я изумленно поднял глаза – тот же молодой сероглазый охранник.

– Я вас еле догнал, – сказал он. – Быстрей! Ростропович приказал найти вас и немедленно поднять к нему. Бежим!

Не говоря больше ни слова, он своей клешней подхватил меня за локоть и, как подъемный кран, буквально вознес по крутой закулисной лестнице с первого этажа на пятый, а затем по коридорам – тараном сквозь толпу и прямо в распахнутые другими охранниками двери комнаты Ростроповича.

И я увидел Маэстро.

Посреди просторной и почти пустой комнаты он сидел в золоченом елизаветинском кресле и, держа в ногах виолончель, наклонялся к ее грифу и шептал ей что-то своим мягким смычком.

Так гладят детей и возлюбленных.

Но шум распахнувшейся двери отвлек его, он поднял глаза и вдруг…

Я даже не заметил, куда он, вскочив, подевал свою возлюбленную виолончель.

– Дорогой мой! – бросился он ко мне и буквально стиснул в объятиях, шепча прямо в ухо: – Никуда не уходи! Никуда, ты слышишь! После концерта я жду тебя на банкете, мы должны выпить на брудершафт! Ты понял?

– Слава, уже третий звонок! – сказала Галина Павловна.

– Иду! – ответил он ей и повторил мне в ухо: – Обязательно приходи, обязательно!

Не нужно тебе говорить, Саша, что это был банкет в честь Александра Исаевича Солженицына. И что французское красное вино и русская белая водка лились там рекой. И что юбиляру подносили адреса и бокалы с частотой как минимум двух раз в минуту. И что десятки каких-то послов, знаменитостей, звезд и друзей произносили тосты и разрывали маэстро Ростроповича, чтобы сфотографироваться с ним и с юбиляром. Но среди этого карнавала амбиций и честолюбий Ростропович вдруг подошел ко мне и сказал:

– Где твой бокал? Мы должны выпить на брудершафт и перейти на ты.

Бокал я тут же нашел, вино тоже, мы скрестили руки и под блицы фотографов выпили до дна. Но сказать ему «ты» я не смог, у меня не хватило духу.

– Ах так! – возмутился он. – А ты пошли меня на фуй и сразу сможешь!

– Идите куда хотите! – произнес я.

– Нет! Так не пойдет! Еще бокал! И пошли меня на фуй! Обязательно! – приказал он.

Я, дерзая, послал. Самого Ростроповича! После чего был представлен Солженицыну, его жена Наталья сказала Александру Исаевичу, который уже собирался идти домой:

– Саша, я хочу познакомить тебя. Это Эдуард Тополь…

– Как же! – сказал Солженицын без секунды промедления. – Я помню. Семнадцать лет назад я написал вам, что не смогу принять участие в том проекте. Я действительно не мог, извините.

Старик, это меня просто сразило! Семнадцать лет назад я был главным редактором первой русской радиостанции в Нью-Йорке, и мы сделали тогда «театр у микрофона» – у меня были лучшие актеры-эмигранты, выпускники ГИТИСа и «Щуки». Они блестяще – поверь мне, я в этом понимаю, – просто первоклассно разыграли перед микрофоном несколько глав из «Ракового корпуса», и я отправил эту запись Солженицыну в Вермонт с предложением заслать, при его согласии и поддержке, сотню таких магнитофонных кассет в СССР, чтобы люди там копировали их самиздатом, как кассеты с песнями Высоцкого и Галича.

Ты понимаешь, какая это была бы бомба в 1982 году! Книги Солженицына – «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ», «Ленин в Цюрихе» и все остальные – на аудиокассетах, которые размножались бы под носом КГБ и – безостановочно! Миллионами копий! Да советская власть рухнула бы на пару лет раньше!

Через месяц я получил ответ Солженицына. Он написал мне буквально три строки. Мол, в связи с большой загруженностью он не может принять участия в этой акции. Я решил, что он просто не хочет вязаться с нами, эмигрантами, – другого объяснения я тогда не смог придумать, поскольку идея была чиста как слеза. И акция с забросой этих кассет в СССР не состоялась, я позабыл о ней и даже теперь, встретив Солженицына, не вспомнил. А он – вспомнил! Мгновенно! Просто, как суперкомпьютер, вытащил из-подо лба файл с моей фамилией и извинился за свое сухое письмо семнадцатилетней давности. Я стоял с разинутым ртом, пораженный сверхпамятью этого сверхчеловека…

Вот с того вечера я на ты с Ростроповичем. Сразу после

банкета он увез меня в ресторан на ужин, где были только он, Галина Павловна и еще трое их друзей. И в этом ресторане я вдруг услышал совершенно иного Ростроповича – не только гениального музыканта, но и гениального рассказчика. Ох, Саша! Если бы при мне была кинокамера или хотя бы магнитофон! Слава был в ударе, он много и не хмелея пил, я против него просто молокосос в этом вопросе. И он рассказывал байки из своей жизни – но как! Я слышал – и не только со сцены, но и в узком кругу, в домашних компаниях – и Аркадия Райкина, и Леонида Утесова, и Александра Галича, и Володю Высоцкого. Но я не помню, чтобы с таким юмором и артистизмом они рассказывали о себе. Ростропович рассказывал о том, как после своего первого концерта в Париже он был зван к Пабло Пикассо, приехал к мэтру с виолончелью и с ящиком водки и к утру, находясь подшофе, подарил тому свой бесценный смычок – не просто подарил, а гвоздем выцарапал на нем «ПАБЛО от СЛАВЫ»! А жена Пикассо в ответ сорвала с себя бриллиантовое колье с золотой цепью и надела на Ростроповича. За что Пикассо тут же устроил ей скандал, потому что, оказывается, это был первый подарок, который Пикассо сделал ей еще в начале их романа. А Ростропович, проснувшись наутро в бриллиантовом колье, которое ему и на фиг не было нужно, обнаружил, что у него нет смычка и играть ему нечем. Кстати, теперь тот смычок хранится в музее Пикассо в Антибе, и Ростропович готов отдать за него любые деньги, потому что второго такого смычка нет во всем мире, но директор музея отказывается не только продать смычок, но даже обменять на другой, тоже ростроповический.

Короче, Саша, я в тот вечер просто умолял Галину Павловну записывать за Славой эти рассказы или хотя бы всегда держать наготове магнитофон… А после ресторана они повели меня к себе домой, где мы сидели на кухне, втроем пили чай, обсуждали всякие благотворительные проекты, а потом Ростропович сказал мне, что сегодня состоялся его последний концерт в России – новые российские «отвязные» критики пишут о нем какие-то гадости, и больше он играть не будет.

– Как? – сказал я. – Ты же сам только что внушал мне, что нужно быть выше газетной хулы и мрази!

– Нет, я больше тут не играю.

– Но ведь публика не виновата!

Он, однако, был непреклонен. И я подумал: а так ли верно, что публика не виновата в том, что пишут ее «отвязные» критики, что поют с экрана ее кумиры и что творят ее министры и правители?

Мы расстались в четыре утра, а в девять я снова был у него и,

представь себе, застал у него уже человек десять певцов и певиц, которых он прослушивал в связи со своей постановкой оперы в Самаре. И тогда я понял, что значит слово «титан». Солженицын и Ростропович – два последних титана нашего века, это бесспорно. При этом я не знаю, какой титан Солженицын насчет выпивки и застольных баек, но что Ростропович титан в трех лицах – и в музыке, и в риторике, и в застолье, – это я видел своими глазами. И потому втройне жаль, что мы не попали сегодня в Милан и не выпили с ним. Ты бы услышал великие байки великого человека! – Городишко Наварра, – сообщил Саша. – До Милана полста километров.

«Совершенно секретно», № 10, 2009 г.:

**ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ, или КТО ПОБЬЕТ АБРАМОВИЧА?**

***(к национальной гордости великороссов)***

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РФ**
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОПУСК
Выдан гражданину: Тополь Эдуард Владимирович
Для въезда и пребывания в: г. Анадырь.
Цель въезда: Деловая поездка – презентация художественного фильма «На краю стою», знакомство с эко-культурным наследием Чукотки.

***Татьяна ГАМАН**, инженер-технолог, начальник Управления социальной защиты населения Чукотского АО, на Севере с 81-го года:* Лучшие годы Чукотки – с 1980 по 87-й. Тогда людей сюда привлекали повышенной зарплатой, приезжали на 3 года, оставались надолго. Был высокий образовательный уровень. Билибинский район был крупнейшим по добыче золота, олова, вольфрама. У чукчей и эскимосов было большое количество скота. Развал и голод начались с 1987 года. Прекратились зарплаты, шахты закрывались, поселки рассыпались, профессионалы уехали. Чукчам разрешили приватизировать оленей, и пошло – оленей меняли на водку, стада утратили и съели, династии оленеводов и зверобоев исчезли. От населения в 150 000 человек осталось 50 000, из них 16 000 – чукчи и эскимосы, остальные – пенсионеры, дети, инвалиды, алкоголики, ну и трудоспособные.

***Василий КЕКВЭЙ**, заслуженный артист РФ:* С 89-го начался беспредел и безвластие. Дешевой китайской водки было – залейся, а еды не было, яблоко стоило 2 бутылки водки. Браконьеры с вертолетов пулеметом расстреливали тысячи

оленей, вырезали языки и увозили этот деликатес в Китай. Коммерсанты водку везли пароходами, приезжали в тундру с трехлитровыми банками спирта, отдавали оленеводам, и те разрешали рубить оленям рога на панты, и самолетами – тоже в Китай. От полумиллионного стада оленей осталась десятая часть. А почему чукча пьет? Ну, нас еще и при царе спаивали. А при соввласти у оленеводов забирали всех детей старше 7 лет (и меня в том числе), увозили в интернаты, а родители, оставшись без детей, пили с тоски и безделья, у них исчезала необходимость постоянной добычи пропитания для детей, шитья для них одежды. А дети, живя в интернатах, забывали народные ремесла, обычаи оленеводства и морского промысла – охоты на китов, моржей, тюленей. Чукотка деградировала, праздник «День молодежи» означал день, когда пенсионеры получали на почте пенсии, а молодежь эти деньги тут же отнимала и пропивала…

***Анатолий РАКИТИН**, бизнесмен, поселок Эгвекинот:* При Ельцине все бюджетные деньги Чукотки ушли незнамо куда. Семь лет зарплаты не выдавали, даже картошки не было! Люди обнищали, и народ отсюда посыпался как горох. Квартиру отдавали за билет до Москвы. Я тоже уехал…

***Ида РУЧИНА**, руководитель Чукотского автономного отделения Красного Креста:* В 2000 году, когда мы сюда пришли, продовольственных завозов не было вообще. Эскимосы Аляски, спасая своих чукотских братьев, слали сюда самолетами чечевицу, масло и другие продукты. Но их распределяли только по чукотским семьям, это порождало национальную рознь. Русские говорили: а мы в холоде, в голоде, без еды…

***Наталья ЗЕЛЕНСКАЯ**, зам. главы района по социальной политике, Эгвекинот:* В магазинах были только уксус и лавровый лист, в Чукотском и Провиденском районах давали на человека 300 граммов макаронных изделий на месяц, их размачивали и делали лепешки. Детей в детсадах кормили ржавой селедкой. Глава управы жил на валидоле – ему из детсадов приносили на руках детей и клали на стол: кормите сами чем хотите!

***Ирина РЯБУХИНА**, начальник департамента культуры, спорта и туризма Чукотского АО:* Я тогда работала в турфирме гидом. Помню, приплыл к нам канадский миллионер на своей яхте, вышел на берег, а там местные доктор и учительница стали у него хлеб просить для своих детей. Тогда мне впервые стало стыдно за свою страну…

***Леонид ГОРЕНШТЕЙН**, бывший зам. начальника управления культуры Чаунского района:* В 1996 году в Певеке зарплату не платили 11 месяцев, мы ездили в села, добывали оленину и делили ее по библиотекам…

***Влад РИНТЫТЕГИН**, хореограф, инструктор Красного Креста:* Мы чукчи, живущие в море. Я родился в Аккани, это древнее поселение охотников и зверобоев. Студеное место, снежные сопки, красота необыкновенная. А в 1965 году нас погрузили на вельботы и принудительно повезли в Лорино на побережье Берингова пролива. Все плакали, плыли, не поднимая голов. Ведь в Аккани остались могилы предков и наши обычаи, когда старейшины следили за всем – сколько заготовили мяса, рыбы, ягод, сколько пошили меховой одежды, кто на ком женится. А тут, в Лорино… Старые деревянные дома, оленей пропили, трезвых не стало, безысходность, жуть. К весне кончились припасы в мясных ямах, и дед, чтобы сэкономить продукты, назначил день своей смерти…

***Ида РУЧИНА**:* Когда мы стали выяснять – семь лет люди не получают зарплату, в месяц 2 банки тушенки на человека или 2–3 кг оленины, – как они живут? Оказывается, зарплаты начислялись прямо на государственный магазин, и там люди по ценам, установленным начальством, могли в счет этой зарплаты покупать просроченные продукты. Причем цены вдвое выше, чем в коммерческих лавках рядом. Схема воровства понятна? При таких ценах мизерной, в 5000 рублей, зарплаты людям хватало на неделю. И народ разбежался, аэродромы бросили, поселки тоже. Чукотка выглядела как выброшенный на берег кит, которого до костей объели бакланы воровства и полярные волки коррупции.

***Наталья ЗЕЛЕНСКАЯ**:* Тут прилетает Роман Аркадьевич, я его встречаю в порту. Как я к нему отношусь? Как ко всем олигархам – с ненавистью и злостью. Он выходит из самолета и говорит: «Знаю, что здесь все плохо. Я не Бог, но чем сможем – поможем». Тут у меня что-то из рук выпало, он нагнулся, поднял. Зашли в кафе. Кто-то дверь не закрыл, дует. Он вскочил, пошел и сам закрыл дверь. Думаю: ничего себе олигарх! А он говорит: «Так нельзя жить, почему такая бедность? Как вам не стыдно? Скажите, что и сколько нужно, чтобы стало лучше?»

***Леонид ГОРЕНШТЕЙН**:* Позвонил Назаров, губернатор: «Ты слышал новость? К вам едет Абрамович избираться в депутаты Госдумы. Подбери ему избирательную команду». Прилетел – голубые джинсы, белый свитерок, «аляска», трехдневная небритость, на ногах кроссовки. Думаю: что его сюда притащило? И конечно, вопрос: почему ему такое обломилось? Почему он, а не я? Тут встреча с избирателями. Одна женщина спрашивает: «А правда, что вы очень богатый?» Он говорит: «Да. А разве это плохо?» И эта простота к нему расположила…

***Ида РУЧИНА**:* В году 97-м Роман Аркадьевич увидел по ТВ сюжет о чукотских детях, которых привезли в Евпаторию и не

вывезли – агентство обанкротилось, и они месяц не могли попасть к родителям. Он сказал своим сотрудникам: вывезите детей. Билеты были оплачены, детей вывезли. Чукчи – народ совестливый, они стали писать в газету письма благодарности. И губернатор сообразил – почему бы не пригласить на Чукотку этот денежный мешок? Позвонил, пригласил. Абрамович прилетел, увидел этот ужас, что-то еще пожертвовал…

***Татьяна ГАМАН**:* Я подошла к нему на улице Энергетиков: «Роман Аркадьевич, у нас дети в ужасном положении, надо их на лето вывезти в Крым». – «А сколько нужно вывезти?» – «Всех». – «А сколько всех?» – «Восемь тысяч». – «А можете посчитать, сколько это будет стоить?» Я посчитала – авиабилеты, путевки в санатории, летняя спортивная одежда – минимум по две штуки на ребенка плюс сопровождающие. Вышло под двадцать миллионов долларов! Он сказал: «Хорошо, будем это делать».

***Наталья ЗЕЛЕНСКАЯ***: И детей стали вывозить в Крым. Но в первый год от нас вывезли только 300 детей, остальные еще оставались в глубине Чукотки, их местная администрация не доставила в Анадырь…

***Ида РУЧИНА**:* А губернатор решил: если Абрамович сейчас улетит, то больше не вернется. И уговорил его стать депутатом Госдумы от Чукотки. И Роман Аркадьевич стал, думал – просто так, для прикола. Мол, Абрамович – чукотский депутат, звучит! А уже, как депутат, стал делать крупные пожертвования на социальные программы.

***Из депутатской почты Р. Абрамовича***

«Здравствуйте, Роман Аркадьевич! Пишут вам дети сел Ламутское и Чуванское, живущие в интернате. Живем мы нормально, но иногда не бывает продуктов. Отключают батареи. В эту зиму 2000 года было прохладно спать под четырьмя одеялами. В каникулы нас домой не отпускают, даже если просят родители. Постоянные конфликты с поселковыми детьми. Теперь о том, о чем хотим попросить. Мы хотели бы хоть раз в жизни побывать на Новый 2001-й год дома с родными. Мы ждем каждый год этого чуда, но оно все не приходит. Хотя бы раз на Новый год побывать с мамой. До свидания. Приезжайте в гости. Дети села Чуванское».

«Здравствуйте, Роман Аркадьевич! Меня зовут Нина. Я закончила 11 классов в 1996 году и полетела учиться в Магадан. Проучилась 1 год, и для дальнейшего обучения не дали деньги. Сначала стояла на безработице, потом

мыла полы в школе. Работала секретарем в совхозе, теперь мою полы там же. Моя сестра окончила 9 классов, но учиться ее не отправили по той же причине. В школу она ходить не будет, так как не в чем, ей стыдно ходить в обносках и рванье. Ученики же не понимают и смеются, а ей обидно. Папа работает в совхозе, а мама в колхозе. В этих организациях деньги не выплачивают. Маме дают списки на хлеб 200 р. И за коммунальные услуги высчитывают с нее, а зарплата у нее около 1000 р. Папе и мне дают норму продуктов, но этого нам хватает на половину месяца, как мы ни стараемся эти продукты растягивать. Бабушка получает пенсию 800 р. Сейчас собирает нам с сестрой на ботинки и брату на посылку (он в армии). Наступила зима, а у нас даже шапок нет, не говоря о зимней одежде. У меня постоянно болят зубы, а денег нет, чтобы слетать в Анадырь в больницу. Роман Аркадьевич, не откладывайте это письмо в сторону. Я знаю, другие живут еще хуже, но я вас прошу: помогите нам. Нина Никитина, село Марково.

P.S. Только не подумайте, что мы лодыри. Конечно, мы садим огород. Картошка есть, но ее надо растянуть на весь год, а накопали всего 6 мешков».

***Наталья ЗЕЛЕНСКАЯ***: На второй год из нашего района вывезли в «Бригантину» и другие крымские лагери 1000 детей, а со всей Чукотки 11 500. Причем их одевали с головы до ног. Ведь там 30 градусов жары, а наши дети в резиновых сапогах и в куртках. Поэтому им покупали спортивные костюмы, обувь и вообще всё, вплоть до зубных щеток. Плюс лечение и лекарства. Потому что врачи в Евпатории в ужас пришли – все наши дети с гнилыми зубами, с увеличенной печенью. Они думали – желтуха, чуть весь город не закрыли на карантин. А дети, прилетев на юг, две недели молчали от шока. Они деревьев никогда не видели, теплого моря, фруктов, даже бутербродов с сыром не знали. Они говорили: «Смотрите, снег выпал на дерево и не тает». А это была вишня в цвету. Одна девочка обняла дерево и говорит: «Дерево, дерево, а меня Машей зовут…» Вернувшись, дети стали писать ему письма: «Роман Аркадьевич, спасибо вам за ту сказку, которую вы нам подарили и которая уже не повторится никогда…»

***Татьяна ГАМАН:*** Я к нему обратилась: «Роман Аркадьевич, на материке всех наших студентов-бюджетников отчисляют из вузов за неуплату». А он: «Скажите Гончаровой, она проплатит». –

«Вам написать докладную?» – «Нет, просто скажите Гончаровой. Мы создали гуманитарный фонд „Полюс надежды“. Марина Гончарова – президент, она оплатит все расходы на социальные программы».

***Александр МАКСИМОВ**, глава Иультинского района:* К нам в Эгвекинот команда Абрамовича – десять человек – впервые прилетела в августе, а к ноябрю сюда пришли пароходы с продуктами, и каждому жителю Чукотки раздавали бесплатно 5 кг соли, 20 кг сахара, мешок муки, мешок картошки, растительное масло и сухофрукты по 5 кг. Мы брали, не стесняясь, – нам нечем было детей кормить.

***Леонид ГОРЕНШТЕЙН**:* На Чукотку хлынул золотой дождь. Каждый житель села получил 250 кг продуктов и комплект теплой одежды, на семью получалась тонна. Все детсады и школы получили телевизоры, елки, пылесосы, видеомагнитофоны. Открыли горячую линию с Москвой, с офисом Абрамовича. Там круглосуточно дежурили его помощники, и любой мог бесплатно позвонить им с Чукотки со своей проблемой. А оттуда тут же звонили сюда, могли поднять среди ночи: «Это от Абрамовича. Роман Аркадьевич просит сделать то-то и то-то». И его поручения исполнялись не из страха наказания, а было страшно не соответствовать его ожиданиям. Вообще те годы прошли на Чукотке на таком драйве!

***Ида РУЧИНА**:* В Анадырь команда «Полюса надежды» прилетела в марте 2000 года. Принимали по 500 человек в день и ночь – сутками! Роман Аркадьевич поначалу сам вел прием, но при виде его люди теряли рассудок, принимались рыдать. И мы попросили его сидеть в соседней комнате, не показываться. Но сколько он ни давал денег в местный бюджет, избиратели продолжали ему писать о том же – зарплат нет, света нет, отопления нет. Каждую неделю по тысяче писем! Стали проверять, куда уходят деньги. Быстро нашли – и бюджетные деньги, которые центр давал на округ, и пожертвования уходили на банковские счета местных чиновников в Анкоридже и на Кипре. Как с этим бороться? Он сказал, что будет баллотироваться в губернаторы. Вся команда рассмеялась – новый чукотский анекдот: Абрамович – губернатор Чукотки! Стали его отговаривать. Бесполезно. А прежний губернатор и его свита забеспокоились, перестали приглашать на Чукотку. Маслов, главврач Певекской больницы, через газету поблагодарил Романа Аркадьевича за переоборудование больницы, так губернатор хотел его за это уволить.

***Александр МАСЛОВ**:* Это было как во сне. Осенью 1999-го, когда Роман Аркадьевич еще был депутатом, тогда, если

губернатор прилетал в Певек, вся «целовальная команда» должна была быть на полосе на аэродроме. А эти, команда Абрамовича, звонят: «Вы на месте? Мы сейчас приедем». И сами пришли в больницу. А наша больница была в более-менее приличном состоянии, поскольку у нас была своя сеть аптек, и аптеки приносили доход, который мы не присваивали, а пускали на лекарства и зарплату медсестрам. И вот Роман Аркадьевич и его команда прошли по больнице, я слышал их разговор, он сказал: «База есть, строить не нужно, можно сразу оснащать. Только фуфла не покупайте». И уехал. Ну, я думал: показуха, как всегда. Но тут прилетает Шилькрот Илья Юрьевич, его помощник по вопросам здравоохранения, а с ним два специалиста по медоборудованию. Снова прошли по больнице, все записали. И 7 марта 2000 года мне звонит начальник аэропорта: «В твой адрес летят два самолета с медоборудованием, готовь разгрузку». А это канун Восьмого марта – никто уже не работает, все пьяные. И вот я, мой зам и еще двое моих сотрудников – вчетвером мы двое суток выгружали два Ил-76, полностью забитых рентген-аппаратами, «узи» и т. п. Все новенькое, импортное. Первый раз я получил удовольствие от своей профессии…

**БИО.** *LENTA.RU:* «Роман Аркадьевич Абрамович родился 24 октября 1966 года в Саратове. В раннем возрасте стал сиротой, жил и воспитывался родственниками по отцовской линии в Сыктывкаре и Ухте, с 1974 года – в Москве. В 1984 году был призван в армию, после службы, по одним сведениям, поступил в Ухтинский индустриальный институт и перевелся в Московский институт нефти и газа имени Губкина, по другим – нигде не учился. Работать начал в Москве продавцом игрушек кисловодского кооператива „Луч“, позже основал собственный кооператив „Уют“. С 1991 по 1993 год был директором московского малого предприятия „АВК“, занимавшегося коммерческой и посреднической деятельностью, в том числе перепродажей нефтепродуктов. В июне 1992 года был задержан по возбужденному прокуратурой Москвы делу о хищении государственного имущества в особо крупных размерах, активно сотрудничал со следствием, и в декабре 1992 года дело было прекращено за отсутствием состава преступления. С 1993 года занимался продажей нефти из города Ноябрьска. Вместе с Борисом Березовским создал офшорную фирму Runicom Ltd.,

зарегистрированную в Гибралтаре, и пять дочерних компаний в Западной Европе. В том же году возглавил московский филиал швейцарской фирмы Runicom S.A. В 1995 году совместно с Березовским и Александром Смоленским реализовал крупный проект в нефтепромышленной сфере. Партнерам удалось пролоббировать в Кремле создание компании «Сибнефть», занявшей 20-е место в мире и 6-е – в России по уровню нефтедобычи, и приобрести контрольный пакет ее акций за цену, значительно уступающую рыночной… В ноябре 1998 года появилось первое упоминание об Абрамовиче в российских СМИ, когда бывший руководитель Службы безопасности президента Александр Коржаков назвал его «кассиром семьи Ельцина». В то же время появились слухи о том, что Абрамович входит в ближний круг доверенных лиц президента, принимает участие в важных кадровых решениях, определяющих внутреннюю политику государства. Так утверждалось, что Абрамович подбирал членов будущего правительства Владимира Путина, а также финансировал создание партии «Единство»…»

***Ида РУЧИНА**:* Роман Аркадьевич действительно родился в Саратове, но с двухмесячного возраста рос в Сыктывкаре. Дело в том, что 7 июня 1941 года всем литовским евреям, в том числе семье Абрамовичей, дали час на сборы, погрузили в вагоны для скота и отправили в Сибирь. В числе высланных были четырехлетний Аркадий, будущий отец Романа, с двумя братьями – 12-летним Лейбом и 8-летним Абрамом. По дороге семью разделили – трех пацанов с матерью отправили под Сыктывкар, а отца с другими мужчинами – в Красноярск, в ГУЛАГ. Больше они его не видели, дедушка Романа погиб в КрасЛАГе в 1942-м. А эти трое с матерью пухли от голода в Коми АССР, каморку в бараке отапливали буржуйкой и выжили только за счет того, что мать шила на «Зингере». После войны Лейб пошел в торговое училище, быстро выдвинулся и стал руководителем торговой сети Коми АССР, идеально поставил снабжение всех лесопунктов, во всех поселках построил пекарни. Конечно, на него писали – особенно когда он построил себе дом. Пошли проверки, вскрывали полы, искали деньги и золото. Он показал квитанции на каждую доску и гвоздь. Позже секретарь обкома сказал: «Мне бы пяток таких Абрамовичей, я бы в Коми построил коммунизм!»

Аркадий, отец Романа, после школы служил во флоте,

закончил строительный институт в Ухте и работал инженером на стройках в Сыктывкаре. Там же женился, это была счастливая семья, Аркадий красиво пел, имел 13 медалей ВДНХ за северное строительство и изобретения, был очень веселым и щедрым человеком, мог всю зарплату раздать в долг и никогда не просил вернуть. Роману не было и года, когда его мать умерла – ей нельзя было рожать, она после родов не восстановилась. А еще через 2 года погиб на стройке Аркадий – на первомайской вахте на него обрушилась какая-то плита. Сироту забрали в семью Лейба, старшего брата Аркадия, где растили, как родного сына. Он рос баловнем у бабушки, в школу пошел в Ухте, но в первом же классе школьники сказали ему, что это не его родители. Тогда приемные родители отправили его в Москву, к дяде Абраму, и в Москве он заканчивал школу. В 16 лет ему на семейном совете сказали, кто его отец, и, чтобы сохранить память о родном отце, паспорт Роман получил как Аркадьевич…

***Леонид ГОРЕНШТЕЙН:*** На избирательной кампании антисемитскую карту тут разыгрывали по полной программе – привозили прохановские и махровые охотнорядские листовки, внушали людям, что он приехал ограбить Чукотку…

***Ида РУЧИНА:*** А лозунг кампании был один: «Роман Абрамович – это всерьез и надолго». И мы летали по краю с риском для жизни – на вертолетах и самолетах, у которых ресурс уже выработался.

***Василий КЕКВЭЙ:*** Но мы уже и так увидели, что Роман Абрамович человек слова. И он стал губернатором…

***Ида РУЧИНА:*** Он пришел сюда в 33 года и стал губернатором. Но вся администрация – люди бывшего губернатора – осталась. Он не уволил никого. Просто приглашал к себе и говорил: «Я понимаю, что при прежнем руководстве вы жили по одним правилам. А теперь будем жить по другим правилам. Я буду ставить задачу и сроки выполнения. И контролировать. За невыполнение или некачественное выполнение – снижение зарплаты до хлебных».

***Игорь ИВАНОВ**, директор «Чукотской торговой компании», поселок Эгвекинот:* Я на Чукотке с 1983 года. Сразу после окончания Ленинградского института торговли. А до армии – два курса инженерно-строительного института. В 91-м здесь не было ничего, никакого снабжения. Народ «Смешторга» – 400 человек – собрался: что делать? Зарегистрировали «Чукотскую торговую компанию», стали из Америки возить картошку, лук, яблоки и другие продукты. Тогда картошка стоила здесь 11 рублей кг, а мы там покупали по 2. Можно было за один рейс парохода стать миллионером. Но мы своих не стали грабить, продавали

картошку по 3.50. И стали на ноги. В 98-м году на пробу купили три дома в США, привезли, собрали по их технологии. И тут появился Роман Аркадьевич, новый губернатор. Да, мы не строители, но он нам поверил, дал нам одну деревню, там у местных все сгнило. Мы не торговались за стоимость, квадратный метр – $ 850, с НДС! И быстро построили. Тут он опять облетал Чукотку, залетел к нам в Нуэнгуэм, походил, посмотрел и дал нам карт-бланш – посадил в вертолет и сказал: сколько можешь строить – строй! Через год мы стали сдавать по 350 жилых домов в год. Ведь тут с жильем была катастрофа – люди жили по 10 человек на 30 кв. метров. Нормой было ходить в квартире в валенках. А теперь норма: на семью из 3 человек – квартира или дом, в доме ходят босиком, дети играют на полу. И у людей появилось маниакальное стремление к чистоте. Потом мы взялись за школы. Школы тут всюду были в ужасном состоянии, многие вообще сгнили, дети сидели в классах в одежде при 5–6 градусах. Но поначалу школы нам строили канадцы – $ 8 млн одна школа. А мы разработали в Москве свои проекты и стали строить по $ 4 млн. К 2004 году мы уже строили на Чукотке 70 % жилья – больше 1000 домов! То есть наши знания и его, Романа Аркадьевича, возможности сделали нашу кампанию одной из крупнейших. Мы освоили американский метод шоковой заморозки рыбы, разрабатываем месторождение рассыпного золота на Куполе, возим уголь по всей Чукотке, строим жилье, школы и даже мостовые из фибробетона! Да, сначала мы нанимали американских прорабов, а шахтеров из Капийска переучивали на строителей. Но с тех пор уже 10 000 человек прошли нашу школу, они теперь сами профессионалы, строят по всей Чукотке и Магаданскому краю. А посмотрите на наш Эгвекинот! Раньше тут 18 кочегарок дымили так, что снег был черный, дети этой гарью круглые сутки дышали. А дома? Все разваливалось, утопало в грязи! Мы убрали эти коптильни и рассадники пьянства, за свой счет проложили теплоцентраль от соседней, в 13 километрах, ГРЭС, дали в поселок горячую воду и построили тут чукотскую Швейцарию – новенькие разноцветные коттеджи, горнолыжные спуски, тротуары и мостовые из фибробетона и телевизионные камеры на каждом перекрестке. У нас теперь женщины ходят на каблуках, и если человек ступил на мостовую, а машина не остановится, милиция ее через десять минут догонит и отнимет права у водителя. Знаете, как государство пошло бы вперед, если бы давало возможность людям делать то, что они могут и хотят! Вот вы сегодня ходили гулять, дошли до края поселка, верно? Откуда я знаю? *(Смеется.)* Милиция видела вас на своих экранах и думала, как быть – там за

час до этого два белых медведя к наших складам приходили.

***Анатолий РАКИТИН:*** Был такой случай. Губернатор дал местным чиновникам деньги на ремонт объекта. Через месяц они к нему прибежали: «Роман Аркадьевич, мы все сделали и еще столько-то сэкономили!» А он: «Я вас просил экономить? Я просил сделать качественно и в срок». И пошел проверять…

***Александр КОЛЕСНИКОВ**, директор Центра дополнительного образования и тренер горнолыжного спорта, Эгвекинот:* Я закончил физкультурный институт в Самаре, там же женился. С 91-го года работаю тренером в спортивной школе. Когда забирал жену на Чукотку, плакала вся ее родня. Мы тогда жили в балках из фанеры, они назывались «шхуны», поскольку плавали по пояс в грязи. Отапливались буржуйками. Зарплату нам не платили по 9 месяцев, я чистил колодцы, ловил рыбу, собирал грибы и подножный корм. Но как только Роман Аркадьевич стал депутатом, мы стали ездить на Зимние Арктические игры – в 2000 году сорок человек, сборная Чукотки, поехали в Канаду, в Вайтхорс. Там были все страны, которые выше 60-й параллели, – Канада, Гренландия, Аляска, Россия, Норвегия и Финляндия. То есть до 2000-го тут было существование, а с 2000-го началась жизнь. Нам стали платить зарплату, люди стали работать, появились соревнования. Наш Центр получил контейнер спортинвентаря, музыкальные инструменты, 30 комплектов горных лыж с ботинками, 10 комплектов сноубордов. Жена у меня тоже тренер по горнолыжному спорту, мы сделали тут горнолыжные трассы, подъемник, и теперь весь наш поселок – 500 человек – бесплатно обучается в горнолыжной школе. В Москве покататься на горных лыжах стоит 1000 рублей в час, а тут народ даром катается всю зиму. А Восьмого марта мы еще вдоль трассы зажигаем факелы и синькой пишем на снегу: «ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» Детей ежегодно вывозят на юг, у меня дочь побывала в «Артеке», в Подмосковье, на Кипре и в Ирландии. Теперь она чемпионка РФ по национальным видам спорта, учится в Самарском университете на мехмате. Но когда я бываю в Самаре у родственников и рассказываю о том, как мы тут живем, никто не верит. Все считают: Абрамович обокрал страну, нефть выкачал, золото вывез, Чукотку прикарманил. Я говорю: минуточку, пусть вас тоже так прикарманят! У нас теперь трехкомнатная квартира и зарплата такая, что мы можем на четыре месяца в отпуск куда угодно поехать. В Анадыре на Корюшкином фестивале «Мама, папа, я – спортивная семья» – это чья семья больше поймает корюшки – все, кто занял первые шесть мест, и мы в том числе, поехали на Кипр на 10 дней – полный пансион за счет Романа Аркадьевича, он сам награждал. А Кубок

губернатора? А по 7 тысяч рублей и авиабилеты всем выпускникам школ, кто хочет поехать в Москву поступать в вуз? А те школьники, которые окончили школу с 200 баллами за 3 экзамена? Он им дал по 13 000 рублей и отправил отдыхать в Ирландию на 2 недели. Моя дочь тоже ездила… А когда «Челси» играет, со всей Чукотки собирают детей-футболистов и чартерным самолетом отправляют в Англию на матч. С 2002 года на Чукотку снова едут медики и учителя, им тут квартиры сразу дают. Но знаете что? Сколько на материке ни говори об этом, никто не верит, все меряют на свой аршин – а с чего это он такой добрый, наверняка что-то хочет украсть. Хотя у нас тут люди уже просто наглеют – в отпуск не хочу в Подмосковье, хочу на Кипр. То есть привыкли при нем жить, как сыр в масле, и уже стали перебирать харчами…

***Григорий РАКЫЛЫМ**, почетный пенсионер, 5-я оленеводческая бригада, 50 км севернее Полярного круга:* Народ хочет, чтобы был порядок, как при Сталине, колбаса, как при Брежневе, а водка – как при Ельцине.

***ВАДИМ ЗЕЛЕНСКИЙ**, 16 лет, Эгвекинот:* В марте 2004-го нас со всей Чукотки собрали 80 футболистов от 14 до 18 лет, одели, обули и в самолете «Анадырь – Москва – Лондон» отвезли в Англию на матч «Челси» с командой «Fulhem». Поселили в гостинице «Челси-виллидж», и мы были на тренировках «Челси», на матче, с гидами ездили на двух автобусах в Музей восковых фигур, на экскурсии в Гринвич и в Оксфорд, были на мюзикле «Мамма мия!». На стойке администратора в нашей гостинице всегда стояла большая ваза с яблоками. Наверное, для красоты. Но когда мы выходили, не могли удержаться – каждый хватал по яблоку. После нас эта ваза всегда была пустой…

***Василий КЕКВЭЙ**:* Хотите местные легенды? То есть это реальные истории, но превратились в легенды. Как-то Роман Аркадьевич был на встрече с жителями поселка Уэльпаль, и там ему кто-то пожаловался, что, мол, у нас нет мяса, потому что нет свиноматок для развода свиней. Через месяц в Уэльпаль садится вертолет, привозит 10 свиноматок. На другой встрече кто-то сказал, что им в музыкальную школу нужен рояль. Через месяц вертолетом привезли «Беккер». В Беринговом районе, в деревне Хатырка Роману Аркадьевичу сказали, что им не хватает оленей. Через три дня им стали звонить из Якутии и пригнали самых производительных оленей – 3000 голов! Теперь это называется «Стадо Абрамовича».

***Василий МАКСИМОВ**, заместитель губернатора по сельскому хозяйству:* Так рождаются легенды. А на самом деле мы в Якутии закупили всего 1000 оленей. И Роман Аркадьевич отнюдь не

Санта-Клаус, он вообще ненавидит иждивенчество. Как-то подбегает к нему старатель: «Я 50 лет мыл золото, а у меня ничего нет!» «Значит, плохо мыл», – отрезал Абрамович и прошел дальше. Я-то с ним давно, еще с Ноябрьска. И знаю его главный талант – дальновидность, умение провести глубокий анализ, собрать команду талантливых менеджеров и дать им возможность состояться. Когда мы сюда приехали, он сказал: «Чукотка находится в глубоком кризисе, и вы не кто иные, как команда антикризисного управления. Ваша задача: накормить, обогреть, вытащить хозяйственный механизм, поднять экономику, обеспечить здравоохранение и продовольственную безопасность». Как видите, потом эти же задачи превратились в общенациональные проекты России. А тогда… Знаете, что тут было? Поселки без света и тепла, детям варили комбикорм, жилье освещали сальниками. Я сказал Андрею Городилову, первому заму Абрамовича: «Куда ты меня притащил?» Он говорит: «А я? А Роман Аркадьевич? Нам тут нужен человек с северным менталитетом и который будет тут постоянно, чтобы все финансы были под контролем и люди подбирались, в которых я уверен». И назначил меня решать продовольственные проблемы. А я же из нефтянки, я даже не представлял себе, что такое олень, и сидел по ночам, читал книги по оленеводству. Потом мы заплатили якутам 5 000 000 рублей за 1000 оленей и на пять лет по всей Чукотке ввели мораторий на забой оленей. Теперь у нас такое стадо, что товарный забой превышает наши потребности в мясе, мы уже 1500 голов продали корякам. Только что мне Роман Валентинович Копин, наш новый губернатор, звонил из Москвы: вчера Счетная палата сказала, что Чукотка – лучший регион в плане финансовой дисциплины. Для нас это огромная победа, потому что первые два года, пока мы вводили тут форму корпоративного управления и тонули в кучах проблем, никто к нам не лез. Зато потом, когда прописали тут партнеров «Сибнефти», чтобы их налоги пошли в местный бюджет, – вот тут-то Счетная палата и навалилась. Они тут своими проверками прописались на постоянно. Вывернули буквально все, а нашли только одно нарушение – что мы неправедно подняли зарплаты учителям и врачам. А как могли ехать сюда учителя и врачи на 5000 рублей зарплаты? К тому же через год эти зарплаты стали поднимать по всей стране… И вообще аналогов тому, что сделал тут Абрамович, нет. Были созданы гуманитарный фонд «Полюс надежды» и фонд «Территория» для подъема экономики. По программе «Переселение из районов Крайнего Севера» этими фондами куплено на материке около 2000 квартир для пенсионеров и их семей. Причем люди сами выбирали, куда они

поедут – Московская область, Ростовская область, Серпухов, Белгород, Воронеж, Орел, Омск. Отдельная программа – «Переселение семей с детьми-инвалидами». По ней для 420 семей закупили квартиры поближе к спецбольницам и реабилитационным центрам. И даже военным помогли – когда тут закрыли военную базу, мы на материке купили квартиры сорока офицерским семьям. Только за 2004–2006 годы на социальные программы, строительство и подъем экономики оба эти фонда израсходовали больше 20 млрд рублей! То есть вы вообще представляете, что можно сделать в России, если не воровать так, как воруют в России?! На Чукотке 50 поселков, в каждом теперь люди обеспечены жильем, в каждом отремонтированные или заново построенные школы и больницы, в Анадыре Дворец культуры такой, каких и в Москве нет! Если раньше квартиру отдавали за билет до Москвы, то сейчас тут квартира снова стоит 1 200 000, это значит – деньги у людей появились. И – всюду женщины с колясками, это первый показатель уверенности в завтрашнем дне. Сегодня Чукотка – зона, свободная от коррупции, – это практически сам Степашин признал. Но проверки не прекращаются – только официальных отчетов 68 видов! Причем каждый квартал я должен отчитаться, сколько посеял яровых и озимых. Это в тундре, на Чукотке! Представляете? Я по этим посевам на последнем месте в стране, но отменить эту бюрократическую чушь не может никто…

***Леонид ГОРЕНШТЕЙН**, ныне первый заместитель губернатора Чукотки:* Когда заканчивался его первый губернаторский срок и прошел слух, что Абрамович уходит, у нас началась настоящая паника. Люди стали скупать соль, спички и вообще всё. Мешки писем в Кремль: что вы делаете? Верните нам Абрамовича! Тут поступил звонок от Романа Аркадьевича: «Это так?» А когда прилетал к нам Медведев, его в аэропорту толпа провожала скандированием: «Не забирайте Абрамовича! Не забирайте Абрамовича!» И хотя Роман Аркадьевич продлился на второй срок, но все-таки год назад он ушел в отставку, оставив здесь команду новых местных менеджеров и в первую очередь – своего преемника, 34-летнего Романа Копина, про которого он еще несколько лет назад публично сказал: «Я предлагаю его на пост руководителя Билибинского района. Но вообще знакомьтесь – это будущий губернатор». То есть он еще тогда разглядел в Копине крупного руководителя нового типа…

***ИДА РУЧИНА**:* Когда и как у Романа настроение стало меняться? Знаете, это как в «Сказке о рыбаке и рыбке». На какой-то встрече с избирателями один мужчина сказал ему: «У нас подъезды грязные, мусор не выносят». Он спросил: «Вы считаете,

что я должен пойти и вынести ваш мусор? Вас сколько семей в подъезде?» – «Четыре». – «И вы не можете сообща свой мусор выносить? Покрасить и привести подъезд в порядок?» Второй раз на встрече с учителями встала одна учительница: «Мы интеллектуальная элита народа. Почему мы должны на двух ставках работать? Нам нужна такая зарплата, чтобы мы могли отдыхать, читать и развиваться. Вы же все это для себя сделали – дома покрасили, поселки построили. А для нас можете хоть что-то сделать?» Он помолчал, потом сказал: «Вы, пожалуй, правы. Ваши улицы, которые были сплошной грязью, я застелил фибробетонными плитами стоимостью в миллионы долларов – для себя. Поменял в поселках канализацию, теплосети и водопровод – тоже для себя. И школы построил новые, и больницы – тоже для себя. Вы правы…» Кто-то сказал тогда ему: «Извините нас, мы не оправдали ваше доверие». Он промолчал. А потом пришло письмо от какой-то девочки: «Роман Аркадьевич, вы три раза обманули мою маму. Она вам три раза писала, чтобы вы купили ей шубу 48 размера, а мне телевизор и плеер». И как в сказке о Золотой рыбке, он им уже не стал отвечать…

***Александр МАСЛОВ**, ныне главврач Чукотской областной больницы, Анадырь:* Время правления Романа Аркадьевича – золотые годы Чукотки. Он и его команда – это совершенно иной уровень менеджмента. Их девиз при обращении к властям: не говорите как нельзя, говорите как можно. А при общении друг с другом достаточно было произнести пароль: «Рома сказал», – и всё выполнялось, буквально! Когда меня в 2003-м из Певека перевели сюда главврачом областной больницы и подчинили мне все больницы Чукотки, мне было уже 38 лет, а пришлось многому у них учиться – как разговаривать, как ставить задачу, как считать и формулировать. Например, вот шло совещание с медиками Чукотки. Главврач одной больницы делала доклад о положении с нашей медициной, долго и нудно сыпала терминологией, считая, что раз он москвич и олигарх, то нужно показать уровень. А он сказал: «Кроме слова „клизма“, ничего не понял!» Все рассмеялись, напряг ушел, стали говорить, что нужно конкретно. А нужно было всё. Я, когда увидел анадырскую больницу, вообще сказал Городилову: «Дайте мне пистолет, я застрелюсь прямо на пороге». А он: «Ничего, зато теперь у вас есть поле деятельности». И мы полетели в Турцию заказывать проект реконструкции здания больницы. За неделю там на коленке нарисовали всё с проектировщиками, потом полетели на Аляску знакомиться с их структурой здравоохранения, потом – на ярмарку медицинского оборудования в Дюссельдорф закупать для больницы самое новейшее. Такой был уровень… В те годы тут повально всех

новорожденных называли Романами, это я вам как областной главврач говорю.

***Ида РУЧИНА**:* Нет, рай мы тут еще не построили. Чукотка еще требует дотаций Центра. Но если доразведать ее богатства – золото, нефть, олово, вольфрам, да прибавить к этому экзотический туризм, да отламывать от этого пирога местному населению не в последнюю, а в первую очередь… И еще. К сожалению, наша главная проблема – алкоголизм коренного населения – быстро не решается. Их так долго и упорно спаивали… Пьет очень большое количество коренных жителей. Например, в крошечном поселке Уэлен 23 точки самогона, включая дом самого участкового милиционера. И силой тут ничего не сделаешь; по закону, если человек заявляет, что гонит самогон для личного употребления, вы не имеете права отнять аппарат. И вот стоят у них бочки самогона, всем известно, что они им торгуют, а они заявляют, что этим самогоном «окна моют». Что вы можете сделать? Однако «День молодежи» мы все-таки ликвидировали – ввели банковские кредитные карточки, на которые старикам поступают их пенсии. И знаменитый Маршак прилетал к нам из Сан-Франциско, внедрял свой метод излечения от алкоголизма. И наши волонтеры – Влад Ринтыгегин и другие – ездят по селам и поселкам, работают с чукчами по методикам Маршака…

***Василий МАКСИМОВ** (из книги стихов):* «Всюду лунный пейзаж: здесь окраина Света, серебром отливают отроги вершин, узкой речки вираж, словно ниточка вдета сквозь застывшую музыку снежной души. Кто ни разу тут не был, тому не понять эту музыку снега, ветров и туманов, только здесь можно чудо Земли увидать – как рождается солнце из Океана».

Я смотрю за окно гостиницы «Чукотка» на широкие анадырские проспекты, выложенные чистыми фибробетонными плитами. Они похожи на взлетные полосы современных аэродромов и космодромов. И невольно думаешь: а может, не зря именно здесь, на краю России, распростер руки навстречу солнцу новенький монумент Николая Чудотворца? Может, и прав поэт – зам. губернатора, и воистину отсюда начнется чудо новой России – ее старт в то светлое, о чем она мечтает веками?

Когда-то, в августе 98-го, терзаемый впечатлениями первых дней дефолта, я написал свое пресловутое письмо «Возлюбите Россию, Борис Абрамович!». Но ведущие олигархи моему призыву не вняли и потому через год оказались «за бугром». А эмигрантская пресса топтала меня ногами и писала, что я предатель еврейского народа и куплен антисемитами. Теперь, я

думаю, все будет наоборот – антисемиты будут писать, что меня купил Абрамович, а эмигрантская пресса напишет, что я «замаливаю грехи». Но мне плевать и на то и на другое, потому что, как признался мне когда-то Слава Ростропович, «я занимаюсь благотворительностью, чтобы чувствовать себя человеком среди людей». Я не знаком с Романом Абрамовичем, но все, с кем я говорил на Чукотке, считают, что всё, сделанное им для этого края, – тоже из простого желания помочь людям. Убеждать в этом антисемитов бесполезно, они все равно не поверят, а хвалиться тем, что среди олигархов-евреев нашелся-таки порядочный Абрамович, мне как-то неловко. И вообще я пишу эту статью совсем по другой причине. Я пишу ее потому, что на Чукотке меня ни днем, ни ночью не покидала простая мысль, ясная, как полярный день. Президент Д.А. Медведев объявил одной из своих главных задач борьбу с коррупцией. И действительно, если уже и международные организации считают, что по уровню коррупции мы впереди планеты всей, то куда нам дальше? Коррупция – это та удавка, которая душит на Руси любое предпринимательство и новаторство и обрекает на загнивание даже тот сук, на котором она, эта коррупция, сама и сидит. Но как можно победить коррупцию, если борьбой с ней обязаны заниматься сами же коррупционеры? Это такая же борьба, как в прошлом была знаменитая «борьба за мир».

Опыт Чукотки показывает, что есть только один эффективный метод не борьбы, а освобождения от коррупции – квадратно-гнездовым способом высадить в стране губернаторов-олигархов, чтобы они десантировались туда со своими командами и сменили, отсекли, как раковую опухоль, весь слой коррумпированного чиновничества. Да, это не будет молниеносная победа. Даже на малом экспериментальном поле Чукотки Абрамовичу и К при их безлимитных финансовых возможностях понадобилось 5 лет для такой прополки. И если бы я писал эту статью для власть предержащих, я бы сказал:

– Уважаемый Дмитрий Анатольевич, недавно вы были на Чукотке и видели своими глазами, что Чукотка действительно о стала зоной, свободной от коррупции! Тамошние прокуроры навзрыд плачут из-за отсутствия крупных экономических преступлений, им за «раскрываемость» нечем отчитываться!

Сегодня, когда олигархи всех мастей платят налоги безлично, они содержат полки ушлых экономистов, которые эти налоги минимизируют почти до нуля. А те налоги, которые они все-таки вынуждены платить, все равно улетают в черную дыру многоуровневой чиновничьей и госдумовской дележки. Абрамович получил от президента Путина право прописать свои

и близкие к нему бизнесы на Чукотке – с тем чтобы все их налоги шли в чукотский бюджет, освобожденный им от распиловщиков этого пирога. И на эти деньги тут выросли новенькие города и поселки, теплоцентрали и мостовые, предприятия и дворцы культуры, а также школы и больницы, оборудованные – я видел! – не хуже элитных школ и больниц на Рублевке. И в этот золотой дождь вторым финансовым потоком пролился на Чукотку дождь личных денег Абрамовича. Хрен его знает, этого Абрамовича, с какой стати он из своих собственных средств отломил, как считают здесь, на Чукотке, не меньше 2,5–3 миллиардов долларов. Но отломил же! Губернаторские надбавки к зарплатам и пенсиям, дом или квартира каждой семье, квартиры пенсионерам на материке, летний Крым для 11 тысяч чукотских детей, новенькие школы, больницы и дома культуры – никто на материке не может поверить, что это не сказки купленного пиара, но вы-то, Дмитрий Анатольевич, своими глазами видели, что воистину Бог знает, что можно сделать в России, если не воровать так, как воруют в России!

Абрамович получил от Бога (или от Ельцина) «Сибнефть» и с помощью своей команды молодых менеджеров превратил эту компанию в современное и высокоприбыльное предприятие. Да, потом были «Челси», двухсотметровые яхты и прочие игрушки. Но первым его проектом была все-таки Чукотка. Он пришел сюда в 33 года, а ушел в 40, отдав этому проекту 7 лет жизни, несколько миллиардов долларов и оставив после себя 33-летнего преемника. (Похоже, 33 года – это воистину самый благотворительный мужской возраст…)

Сегодня весь российский бизнес замер в ожидании еще худших кризисных времен. И прогнозы экономических синоптиков самые мрачные. Так сделайте, Дмитрий Анатольевич, олигархов губернаторами, и пусть Потанин, Прохоров, Лисин, Дерипаска, Евтушенков, Бойко, Ананьев и остальные (см. список Форбса) сделают в остальных 86 регионах России то же самое, что сделал Абрамович в регионе № 87. Пусть они способом Абрамовича очистят Россию от коррупции, вытащат ее в XXI век, а потом – да Боже мой! – пусть потом покупают себе футбольные клубы, атомные яхты и даже космические корабли! Но я пишу эту статью не для того, чтобы обратиться к президенту, я хочу напрямую сказать олигархам: а слабо вам, товарищи олигархи, самим, без директивного указания Путина и Медведева, освоить чукотский опыт и внедрить его по всей стране? В США миллиардеры соревнуются между собой в благотворительных жестах. Когда Билл Гейтс объявил о своей многомиллионной программе борьбы со СПИДом, Тэд Тернер тут же заявил, что в

течение 10 лет подарит ЮНЕСКО 500 миллионов долларов на борьбу с нищетой – по 50 миллионов ежегодно! А что у российских миллиардеров – кишка тонка? Уважаемый Михаил Прохоров, круче всех справившийся с кризисом, вам слабо вызваться в губернаторы на самый отсталый регион и стать закоперщиком «стахановского» соревнования олигархов в управлении отстающими регионами страны? А господа Потанин, Евтушенков, Лисин, Ананьев и другие по списку Форбса? Я сознательно исключаю из этого списка Алекперова и Фридмана, Усманова и Вексельберга, Керимова и Мордашова. В конце концов, на десять фридманов один Абрамович все-таки нашелся. И посему теперь я хочу воззвать к национальной гордости великороссов: вельможные олигархи титульной нации, ужель не побить вам рекорд Абрамовича? Иль вы меньше Россию любите?

*Москва – Анадырь – Эгвекинот – Андэма – Полярный круг. Сентябрь 2009-го.*

# Часть вторая
# «Пятый параграф»

# Имя

Мама лежала со мной в роддоме, а папа от нечего делать читал «Граф Монте-Кристо». Время было довоенное, теплое – октябрь, Баку, солнечная каспийская осень. Но в роддом мужчин тогда не пускали, и будущие отцы целыми днями слонялись под окнами больничных палат в ожидании, когда им через форточку крикнут, кто у них родился – мальчик или девочка. Когда отцу крикнули «мальчик», он побежал в ЗАГС и быстро, не обсудив с мамой, записал меня Эдмоном – в честь графа Монте-Кристо. Даже сейчас мой компьютер подчеркнул этого «Эдмона» красной чертой, поскольку в его русском словаре нет такого слова.

Можете представить, что сказала отцу моя мама, когда вышла из роддома со мной – Эдмоном, завернутым в белый кулек!

Но время было сталинское, взяток еще не брали, и переписать мою метрику было уже невозможно.

Пришлось мне детство отходить в графах.

Вначале это было еще ничего – на Кавказе каких только имен не бывает! Разъезжая в юности корреспондентом газеты «Бакинский рабочий» по Азербайджану, я писал об ударниках труда с настолько примечательными именами, что помню их до сих пор – Мхат, Трактор, Юпитер…

Но когда мы после войны оказались на Украине… Представьте себе полтавскую школу, где учатся одни Васили да Панасы, а среди них – Эдмон! Я ненавидел свое имя и постоянно винил отца за его дурацкий поступок. Потом начались проблемы со стихами. Я посылал свои стихи в «Пионерскую правду», а их не печатали, и я думал, что это из-за имени. Действительно, как может «Пионерская правда» печатать стихи пионера по имени Эдмон?!

Но когда я стал посылать стихи, подписываясь «Эдуардом», их все равно не печатали (к счастью).

И потому я приобрел псевдоним, которым – уже в юности – стал подписывать свои первые публикации.

А папу это очень огорчало. Он считал, что «Эдмон» несет в себе энергию графа Монте-Кристо и приведет меня, как и героя его любимого романа, к баснословному богатству. А я, сменив имя, обрек себя на бедность…

Похоже, он был прав. Говорят же, что, давая детям то или иное имя, мы во многом определяем их судьбу. Например, Владимирам суждено владеть миром, что подтверждается биографией, скажем, Ленина и Путина. Поэтому в США много Ричей и Ричардов – Rich по-английски «богатство».

Но с другой стороны, мой же опыт однажды дал другой результат. Утром 12 апреля 1961 года в редакции «Бакинский рабочий» был настоящий переполох – ТАСС сообщил, что только что первый человек полетел в космос и этот человек – наш советский космонавт Юрий Гагарин! В ЦК КП Азербайджана главному редактору сказали, что этому историческому событию должна быть посвящена вся газета – все шесть страниц!

Любой человек, мало-мальски посвященный в газетную кухню, знает, что это непростая задача. Ведь половину, если не больше, газетной площади всегда занимают материалы, заготовленные заранее. А в день выхода номера пишется обычно только первая полоса – всякие новости, сообщения ТАСС и пришедшие сверху постановления ЦК КПСС и правительства. А тут вдруг – всю газету нужно посвятить событию, о котором известно только несколько слов: лейтенант Юрий Гагарин… взлетел с космодрома «Байконур»…

В панике главный редактор собрал в своем кабинете всю редакцию, за исключением отдела фельетонов. Фельетонисту не было места на этом празднике жизни. Чувствуя себя отверженным, я бродил по пустым коридорам редакции, курил «Приму» и думал, чем бы мне заняться.

Через час все сотрудники гурьбой выскочили из кабинета главного редактора, разбежались по комнатам и набросились на телефоны собирать отклики нефтяников, хлопкоробов и других трудящихся нашей солнечной республики на исторический полет Гагарина.

Я загасил сигарету и несмело открыл дверь кабинета главного редактора. Николай Николаевич Гладилин, к возмущению половины редакционных зубров взявший меня, двадцатилетнего «мальчишку», на должность фельетониста республиканской партийной газеты и уже получивший от ЦК два выговора за мои фельетоны о воровстве в министерствах связи и транспорта, сидел за своим столом с двумя телефонными трубками в руках. С кем он говорил, я не знаю, но думаю, что с отделом пропаганды ЦК КП Азербайджана и с Москвой, со своими друзьями в «Правде» – а с кем еще он мог разговаривать в такую историческую минуту?

Потом он все же оторвался от одной трубки и взглянул на меня отсутствующими глазами.

– Что?

– Я пошел в роддом, – сказал я.

– Иди куда хочешь! – отмахнулся он.

Стремительно выскакивая за дверь, я услышал его запоздалое «А зачем тебе в роддом?», но сделал вид, что этот вопрос уже не

застал меня в редакции.

Через три минуты я был на улице революционера Басина, в проходной того самого роддома, где родился. Красная «корочка» сотрудника «Бакинского рабочего» открыла мне дорогу в кабинет главврача.

– Поздравляю! – сказал я ей.

– С чем? – подозрительно спросила она, рассматривая мое редакционное удостоверение и пытаясь вспомнить, какие статьи были подписаны этой странной фамилией.

– Юрий Гагарин полетел в космос!

– А-а-а… – протянула она облегченно. – Но мы-то какое к этому имеем отношение?

– Самое прямое! – бодро заверил я. – Вашему родильному дому оказана высокая честь назвать всех мальчиков, родившихся сегодня, именем нашего первого космонавта! Сколько у вас мальчиков сегодня родилось?

Главврач, которой было лет пятьдесят, в упор посмотрела мне в глаза.

– А если роженицы не захотят? – спросила она тихо.

– Это зависит от подхода, – ответил я. – Если вы пустите меня к ним в палату…

– Это исключено! – отрезала она. – Мужчинам в палату рожениц вход запрещен.

– Конечно, – согласился я. – Но это в обычные дни. А сегодня не обычный день, а совершенно исключительный! Человек полетел *в космос*! Впервые в истории человечества! Что по сравнению с этим впервые зайти мужчине в женскую палату?

Главврач еще с секунду смотрела мне в глаза. Потом встала, взяла из шкафа свой второй белый халат, набросила его мне на плечи и сказала:

– Пошли!

А по дороге тихо спросила:

– Почему именно нашему роддому оказана эта честь?

В роддоме, где я родился, я не мог соврать, я сказал:

– Потому что я тут родился.

– Я так и подумала…

Мы зашли в палату, она состояла из двух комнат, в которых лежали на койках двадцать шесть рожениц. Кто-то спал, кто-то кормил грудью новорожденных. Я напряг память, пытаясь вспомнить, на какой из этих коек мама кормила грудью меня. Но так и не вспомнил. Тогда я набрал воздух в легкие и произнес речь. Я поздравил женщин с огромной удачей – ведь им удалось родить детей в такой исторический день! Теперь все человечество будет ежегодно праздновать эту дату – дату полета первого

человека в космос и рождения их детей! И потому я предлагаю им назвать своих новорожденных мальчиков именем первого советского космонавта! Все, кто назовет своих новорожденных Юрием, завтра же будут в газете, и вся республика, все ваши родные и близкие прочтут об этом!

Так я стал «крестным отцом» восемнадцати Юриев пяти национальностей! Мне неохота искать в библиотеке «Бакинский рабочий» за апрель 1961 года, поэтому скажу по памяти, что у меня есть крестные Юрий Ага-Оглы Мирзоев, Юрий Баши-заде, Юрий Мартиросян, Юрий Наранишвили, Юрий Каплан и так далее…

Сегодня им уже под пятьдесят. Но никто из них не стал космонавтом, как и я не стал ни королем Эдуардом V, ни графом Монте-Кристо. Так что, может быть, и не стоило менять имя. Ведь дружил же я во ВГИКе с Эдиком Кеосаяном, будущим знаменитым режиссером «Неуловимых мстителей». А он всю жизнь прожил Эдмоном и – ничего.

Правда, его детство прошло в Ереване, а не в Полтаве, и это уже совсем иной коленкор…

# Деруны

Давным-давно, когда была война, мама увезла нас в Сибирь, подальше от фронта. Нас – это меня и мою младшую сестренку. Мне тогда было четыре года, сестре восемь месяцев, а маме – двадцать семь лет, молоденькая у нас была мама. До войны мы жили в Баку, папа был инженер-строитель, и у нас была замечательная квартира в самом центре города.

Но война подходила все ближе, немцы уже были в Дербенте, и мама решила спасать нас – своих детей. Она взяла на руки мою маленькую сестренку, один чемодан с пеленками и меня, и мы отплыли сначала через Каспий в Красноводск, а оттуда поездом через всю Россию в Сибирь.

Папа поехал нас в Сибири устраивать. У папы было две странности. Во-первых, в раннем детстве, когда ему было три года, он играл ножницами и случайно выколол себе правый глаз. То есть не весь глаз, а только хрусталик. Издали это было совершенно незаметно, глаз остался целым, но если посмотреть вблизи, то в центре хрусталика был виден малюсенький черный треугольник. Папа этим хрусталиком ничего не видел, и поэтому его не взяли на фронт. А папиной второй и самой главной странностью была любовь к диапозитивам. Диапозитивы – это такие цветные картинки на стекле, которые можно пускать на стенку через проектор. Сейчас их делают на пленке и называют «слайды», а раньше их делали на стекле, и у папы было, наверное, тысяч пять таких диапозитивов или больше. Целых два огромных чемодана, доверху набитых стеклянными диапозитивами, которые он начал собирать еще в детстве. И папа решил спасти от немцев свои диапозитивы. Он не взял никаких вещей, а только два огромных чемодана с диапозитивами. И так мы поехали в эвакуацию – мама спасала детей, а папа диапозитивы.

И по дороге папу обокрали. Это было очень смешно. Мы ехали поездом, в общем вагоне, где все видят, у кого сколько вещей и чемоданов. И я думаю, что вор по всему поезду долго высматривал, у кого из пассажиров самые большие чемоданы. Самые большие чемоданы были, конечно, у моего папы. Кто мог подумать, что в этих огромных кожаных чемоданах, тяжелых, как сундуки, человек везет в эвакуацию не какие-нибудь ценные вещи, а цветные стеклянные диапозитивы, или, как говорила моя мама, «стеклышки»!

И вот ночью, когда все спали, папа услышал, как кто-то осторожно стаскивает у него с ноги сапог. Папа спал на второй полке, не разуваясь, потому что у него были очень хорошие

сапоги, и он боялся, как бы их не украли. И вдруг он посреди ночи слышит, как кто-то дергает с него сапог – не сильно, а чуть-чуть. Сдернет немножко и уйдет, потом вернется и опять чуть-чуть сдернет. Ну, мой папа тоже не дурак – он притворился, что не слышит, что крепко спит, а сам не спал, а думал так: «Если я сейчас вскочу, вор скажет, что я все выдумал, что никакие сапоги он не дергал». Поэтому папа решил дать вору возможность сдернуть с него сапоги, а потом вскочить и схватить вора, что называется, с поличным.

Теперь представьте такую картину: мой папа лежит и притворяется, что крепко спит. А вор в это время потихоньку стаскивает с него сапоги, уже один сапог снял до половины и второй до половины. «Ну, – думает папа, – сейчас он снимет с меня оба сапога, и я ка-ак вскочу босиком и ка-а-ак схвачу вора за шиворот!»

И в это время…

В это время поезд подошел к станции, вор потихоньку взял два папиных чемодана и потащил их к выходу. Папа все ждал, когда вор с него сапоги украдет, а вор между тем уже спустился из вагона с папиными чемоданами, и только тогда какая-то соседка толкнула папу в бок и сказала, что у нас украли чемоданы. Тут папа вскочил с полки, а бежать-то не может – сапоги на нем болтаются, наполовину стянутые. Пока он прыгал и натягивал эти замечательные хромовые сапоги, вор с чемоданами уже перебежал через платформу, нырнул под другой поезд, который стоял рядом, и был таков.

А папа выскочил из вагона и стал бегать по платформам, искать этого вора в ночной темноте. Наконец он увидел вдали какого-то человека с двумя чемоданами в руках и погнался за ним, но тут наш поезд тронулся, и мама стала с подножки кричать папе, что она из-за его «стеклышек» не будет высаживаться на этой станции. Мол, если ему «стеклышки» дороже детей, то пусть остается на этой станции навсегда.

Ну, папа прыгнул на ходу в поезд, и мы поехали дальше, в Сибирь, но всю жизнь, до глубокой старости папа не мог забыть эту сибирскую станцию Заклуга, на которой у него украли два чемодана диапозитивов. А я очень живо представлял себе, как бедный вор тащил в темноте два тяжеленных чемодана, обливался потом и мечтал, как он разбогатеет, когда наконец убежит от папы с этими чемоданами и откроет их! И вот наконец он убегает за какие-то склады, прячется там, торопливо сбивает с чемоданов замки, открывает крышку первого чемодана и сует в чемодан свои жадные руки. Что это? Какие-то стекляшки! Вор еще ничего не понимает, он чиркает спичками, чтобы рассмотреть,

что это за стеклышки, и видит, что на них нарисованы картинки из детских сказок: Золушка, Маленький Мук, Конек-Горбунок и Дюймовочка. Тут он высыпает эти стеклышки из чемодана на землю, думая, что, может быть, хоть что-нибудь ценное есть на дне чемодана, но там, конечно, ничего нет. Тогда он открывает второй чемодан. Ну, уж во втором-то чемодане, думает он, должно что-то быть, не станет же, думает вор, нормальный человек тащить из Ашхабада в Сибирь два чемодана стекла! И что же он видит во втором чемодане? Все те же детские стеклышки!

Я думаю, что вор еще долго пытался найти что-нибудь ценное в папиных чемоданах. Наверное, он даже разрезал дно и крышку, надеясь, что в них спрятаны какие-нибудь ценные камни или золото, а, мол, стеклышки папа вез просто так, для маскировки. И когда он понял, что все-таки, кроме стеклышек, в чемоданах действительно ничего нет, вот тут, я думаю, вор сел над этими чемоданами и заплакал, ругая моего папу последними словами.

– Лучше бы я украл его сапоги! – говорил себе вор.

А в ночном поезде, который шел по Сибири, в темном вагоне, на второй полке плакал мой папа и говорил то же самое:

– Лучше бы он снял с меня сапоги! Лучше бы он отнял у меня последние деньги! Ведь я собирал эти диапозитивы с самого детства, когда дядя Исаак приехал из Америки и купил мне волшебный фонарь в одесском магазине «Вассерман и К».

Но долго моему папе плакать не пришлось. Я не знаю, арестовали ли когда-нибудь вора, который украл чемоданы, а моего папу арестовали на следующий день после этой истории. Военный патруль искал в поездах шпионов и тех, кто прячется о от военной службы, и они арестовали моего папу, потому что самый важный документ о том, что он не видит одним глазом и освобожден от службы в армии, папа, конечно, держал в одном из украденных чемоданов. А когда украли и стеклышки, и документ, то папу арестовали и отправили в госпиталь на проверку – видит его глаз или не видит?..

А мы с мамой поехали дальше в Сибирь, теперь уже без папы.

Я не помню все это путешествие, но помню, что в городе Улан-Удэ рыжий, в военной форме, дядя Лева, двоюродный брат моей мамы и хирург тылового госпиталя, не пустил нас к себе домой, и посреди сибирской зимы мы втроем оказались просто на улице: моя молодая красивая мама с восьмимесячной дочкой и с чемоданом в руках – и со мной, четырехлетним мальчиком, который держался за полу ее легкого бакинского пальто. Помню, мы шли по каким-то замороженным, ледяным улицам назад к вокзалу, я ревел от холода и отморозил ноги, мама дышала на

мою сестренку, чтобы хоть как-то ее согреть, и вместе с дыханием падали на мою сестренку горячие мамины слезы.

Но я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, будто я из своего детства помню только грустное, поэтому расскажу и веселую историю про нашу эвакуацию, даже две истории: про быка и про конфету.

Мы с мамой поселились в деревне под городом Иркутском. Мама там устроилась на работу счетоводом, а одна колхозница пустила нас жить на веранду своего домика. Эта веранда все равно зимой пустовала, никто там не жил, потому что это была летняя веранда, зимой ее не отапливали. Там было одно большое окно, тонкие дощатые стенки и тонкая дверь из фанеры. И вот на этой летней веранде моя мама поставила печку-буржуйку – железную бочку с маленькой дверцей и длинной трубой, которая тянулась от этой печки в окно, в форточку.

И мы втроем – я, мама и моя сестренка Белла – стали жить на этой веранде и спать на одной кровати, которую тоже сконструировала наша мама из старых досок и какого-то матраца. Конечно, проще всех было Белле, которой тогда было восемь месяцев, потом девять, потом десять и так далее. Она себе сидела на кровати, укрытая всеми одеялами, болела золотухой и бронхитом, заработанным в Улан-Удэ, раскачивалась взад-вперед и говорила только два слова: «Ко лебом!» На ее языке это значило: «Молоко с хлебом». Я и сейчас вижу, как она сидит на этой кровати, маленькая, рыжая, с золотухой на голове, раскачивается взад-вперед и просит: «Ко лебом! Ко лебом!»

Немножко труднее было моей маме – она всю ночь топила эту печку-буржуйку, утром колола на дворе замерзшие осиновые и березовые дрова, приносила их в комнату и поручала мне топить печку днем, оставляла нам с сестрой литр молока и кусок хлеба, который ей выдавали на работе, и уходила на службу. Там она сидела в конторе, считала на счетах и писала какие-то бухгалтерские отчеты, а вечером, когда темнело, приходила домой.

И совсем трудно было, конечно, мне. Мне было труднее всех. Потому что я никуда не мог выйти из нашей веранды, я должен был целый день топить печку и слушать, как моя голодная сестра просит: «Ко лебом», – то самое молоко с хлебом, которые мы с ней съели и выпили еще утром.

Сегодня, когда кто-нибудь рассказывает мне о своих трудностях или когда у меня плохое настроение, я говорю себе: а вспомни-ка это «Ко лебом», вспомни, каково было твоей маме в эвакуации – одной с двумя детьми и литром молока и куском хлеба в день на троих…

Впрочем, иногда мы ели картошку. Это был большой праздник, когда маме в конторе выдавали картошку. Тут уж у нас был целый пир – представляете, картошка и хлеб! Что еще нужно для счастья?

Но скоро в деревне и картошка кончилась. Сельские подростки ходили в поле, лопатами разбивали замерзшую землю и выискивали недобранную картошку, и однажды я упросил маму отпустить меня с ними. Мне было уже пять лет, у меня был детский совок еще старых, довоенных времен – совок для игры в песочек, и вот с этим совком я пошел с ребятами в поле – вечером, тайком, чтоб не видел сторож.

Был сильный мороз и ветер, совок стучал о мерзлую землю, я плакал и злился и все-таки наковырял штук пять мороженых картофелин. О, из них получились самые замечательные оладьи в моей жизни! Мама сказала, что они называются «деруны». Без масла – откуда тогда масло! – просто зажаренные на сковороде пополам с мамиными слезами, это были самые вкусные оладьи-деруны, потому что я сам, своим совком накопал эту картошку. Ведь всегда нам вкусно то, что добудешь своим совком…

А в другой раз, уже весной я пошел с ребятами в лес, за хворостом. А в лесу бродило деревенское стадо – коров отпустили в лес, чтоб они себе сами под снегом траву искали. И они находили: там, где солнце припекало на пригорках, там снег стаивал, и коровы находили прошлогоднюю траву и ели. А вместе с коровами пасся бык. И ребята от нечего делать этого быка раздразнили, бык рассвирепел и погнался за нами. Старшие ребята – врассыпную, а я, самый маленький, побежал по прямой к дому, и бык выбрал меня. Он бежал за мной, нагнув голову с рогами, а я бежал от него без оглядки. Как я успел добежать первым до нашей веранды, не помню. Помню только, что дверь мне некогда было открывать, я, как кошка, сиганул через окно, через форточку, и в ту же минуту бык со всего маху выбил рогами окно и всей своей башкой оказался у нас в комнате, на нашей веранде.

Представляете, такая картина: мы с сестренкой забились на кровать у стены, а прямо перед нами бычья морда, с рогами и красными от бешенства глазами, и бык еще дергает этой головой так, что вся веранда трясется, а вытащить голову из окна не может, застрял, рога мешают.

Ну, потом соседи позвали маму из конторы, мама позвала пастуха, и пастух за рога повернул бычью голову так, чтобы вытолкать его из окна…

Так мы жили-поживали в ту зиму, и вдруг перед самым Новым годом маму послали в город Иркутск. Я не хотел ее

отпускать, я боялся оставаться один с сестрой на целых два дня, и мама тоже боялась оставлять нас одних на двое суток, но что было делать, если маме приказали ехать?

И вот, я помню, она уехала рано-рано утром, оставила нам с сестрой целый кувшин молока, буханку замечательного черного, мокрого, как глина, хлеба и целую поленницу нарубленных дров и уехала на маленьком грузовичке. Я не помню, как я провел тот день. Наверное, я по-взрослому разделил хлеб и молоко на два дня, но когда мне надоело слушать нытье моей голодной сестры: «Ко лебом, ко лебом», – я, наверное, отдал ей завтрашнюю порцию и сам, конечно, съел свою завтрашнюю порцию.

Сытые, мы с сестрой уснули, и к вечеру наша печка погасла, а мы спали, и, наверное, вконец замерзли бы ночью, если бы вдруг не вернулась наша мама. Она потом говорила, что просто сердцем чувствовала, что ей надо срочно вернуться, и уговорила шофера ехать ночью по тайге обратно из Иркутска в село, отдала ему все свои карточки на продукты на целый месяц, лишь бы он привез ее обратно в тот же день.

И вот она приезжает ночью и видит: наша печка давно погасла, а мы с сестрой, полузамерзшие, спим себе на кровати. Еле-еле мама нас тогда разбудила и отогрела, и так она радовалась, что еще застала нас в живых, что совершенно меня не наказала за то, что я уснул, а, наоборот, сказала, что привезла нам с сестрой подарки – две настоящие конфеты.

Сегодня конфетой никого не удивишь. Сегодня каждый может пойти в магазин и купить конфет. А тогда, во время войны, ничего сладкого в магазине не продавали – ни конфет, ни сахара, и только на базаре можно было за очень большие деньги купить самодельные конфеты. Длинные, сваренные из сахарина и какой-то пастилы и завернутые в цветную бумагу, они были похожи на макароны с распушенными цветными концами.

И вот две такие замечательные конфеты мама привезла нам с сестрой в подарок.

Для меня это был самый настоящий праздник! Потому что, честно вам скажу, в детстве я был очень большой сластена. Еще когда мы жили в Баку и не было никакой войны, мама, папа и все мои родственники просто закармливали меня всякими сладостями. А тетя Люба, мамина младшая сестра, работала на кондитерской фабрике и каждый день приносила мне с работы конфету или шоколадку. От этих сладостей я был очень толстый – такой, представляете, рыжий и конопатый пузырь, который ходил в детский сад и каждый день возвращался оттуда, гордо маршируя и громко, на всю бакинскую солнечную улицу, декламируя очередной стих:

– Климу Ворошилову письмо я написал:
Товарищ Ворошилов, красный комиссар!..

А теперь представьте себе, как такой толстенький мальчик-сластена уезжает с мамой в эвакуацию, в голодную и холодную Сибирь, целый год ест один раз в день кусок хлеба с молоком и – иногда – картофельные, жаренные без масла деруны из мерзлой картошки, но вдруг этому мальчику привозят из города самую настоящую, целую конфету (и в придачу – совсем забыл сказать – настоящие кожаные ботинки на лето)!

Представляете, какой это был праздник и как быстро я эту конфету слопал!

А моя сестренка Белла попробовала конфету и… выплюнула. Потому что конфета была сладкая, а она сроду ничего сладкого не ела.

И тут моя мама заплакала. Она смотрела, как ее дочка не ест конфету, потому что не знает, что такое сладкое, не знает, что в мире бывает какая-нибудь другая еда, кроме молока с хлебом, – мама смотрела на это и плакала.

И я, конечно, съел эту вторую конфету, которую Белка выплюнула.

А утром, когда мама ушла на работу, я надел новенькие ботинки, хотя мама сказала, что эти ботинки на лето. Но я не мог удержаться и надел новенькие ботинки – черные, со шнурочками! Я завязал эти шнурочки и пошел гулять по улице, по морозу и снегу – хвастаться перед ребятами. В снегу я промочил эти ботинки насквозь, вернулся домой и поставил их на печку сушиться, чтоб мама не заметила, что я в них гулял. И конечно, ботинки сморщились, скочерыжились.

Но мама меня не ругала. У меня была золотая мама, она меня очень любила.

P.S. Недавно в газете «МК» я опубликовал большую статью под названием «Русское кино – в сплошном “прокате”». В этой статье я написал, что новое поколение российских кинозрителей никогда не видело «Летят журавли», «Чистое небо», «Андрей Рубле», «Баллада о солдате», «Живет такой парень» и другие истинно русские фильмы. Кинопрокат приучил их к голливудским стрелявшим, ужастикам и смешинкам, и поэтому теперь они отплевываются от настоящих русских фильмов, как моя сестра – от конфеты.

И что вы думаете?

В Интернете состоялось бурное обсуждение – но не сути этой статьи, нет. А только одного абзаца, в котором я рассказал, как моя тетя Люба каждый день приносила мне с работы конфету или шоколадку. Читатели «МК» заклеймили ее «воровкой», а меня – за то, что я даже не осудил ее за воровство конфет с кондитерской фабрики. Честное слово – десятки, если не сотни отзывов на статью даже не упоминали, о чем статья, а только обливали позором и грязью мою любимую тетю Любу.

Меня это поразило. Сгоряча я даже хотел написать им что-нибудь в ответ. Но потом вспомнил совет Александра Сергеевича насчет «хвалу и клевету приемли равнодушно».

Но какие-то сомнения все-таки терзали мою совесть, и я позвонил тете Любе. Представьте себе, она, слава Богу, еще жива, ей сейчас, в 2010-м, 93 года! И теперь, после разговора с ней, я хочу сказать читателям «Московского комсомольца»:

– Дорогие мои честные, щедрые и высокодуховные комсомольцы! Расслабьтесь! Оказывается, до войны на Бакинской кондитерской фабрике было простое правило: ежедневно 10 % сверхплановой продукции выдавали сотрудникам в качестве премиальных.

Папу продержали в госпитале пару месяцев или даже больше – всё проверяли, видит он правым глазом или не видит. Какие только проверки ему не устраивали, думая, что он симулянт! Но если человек одним глазом ничего не видит, то, конечно, послать его на фронт было нельзя – он же не мог из винтовки прицелиться. Зато его можно было послать на какие-то тыловые работы, что-то копать или строить. И по этой причине я своего папу всю войну не видел и совершенно забыл.

В 44-м, когда война заканчивалась, мы с мамой поехали из Сибири обратно в Баку, к дедушке. А папа почему-то поехал на Украину, в Полтаву. Мама сказала, что он на стройке стал счетоводом (до войны он был инженером) и ему, мол, дали в Полтаве работу директором курсов бухгалтеров и счетоводов. Но я думаю, что это только половина правды, я думаю, что у папы с мамой был какой-то конфликт, из-за которого они разъехались тогда в разные стороны.

На обратной дороге никаких приключений не случилось, но я уже был большой мальчик, мне уже был шестой год, и я многое запомнил – вагоны-теплушки, нервотрепные пересадки с поезда на поезд, забитые мешочниками вокзалы, на перронах бачки с надписью «КИПЯТОК» и с металлической кружкой, прикованной на цепочке, американский белый хлеб – такие замороженные желтые булки, которые от тепла разбухали и превращались во вкуснючие буханки…

В Баку мы приехали в марте – там уже было очень тепло! Поезд пришел без всякого расписания, опоздав, наверное, на два или даже на три дня, потому что после Грозного мы все время пропускали встречные поезда с цистернами бакинского бензина и солярки для фронта. Поэтому дедушка нас на перроне не встретил, мы сидели на своем фибровом чемодане в зале, забитом другими пассажирами и беженцами, и я очень хорошо помню этот зал – я впервые увидел, как в солнечных снопах света, бьющих сквозь высокие и грязные вокзальные окна, кружится пыль…

И еще я помню, как я ждал своего дедушку. Конечно, я его тоже забыл, знал только, что его зовут «Майор», потому что так его называли дома. На самом деле его имя было «Меир», но в быту его всегда звали «Майор», и я ждал, что сейчас к нам придет настоящий, высокий, в армейской форме майор.

А пришел маленький, меньше меня нынешнего, дедушка.

Я был ужасно разочарован.

В Баку мы с мамой поселились у этого дедушки, у него была двухкомнатная квартира на улице Дмитрова, бывшей Бондарной – уж не знаю, как она теперь называется в новом независимом Азербайджане. И еще не знаю, как мы в этой квартире все помещались: дедушка, бабушка, моя тетя Люба с мужем Наумом, моя мама, моя сестра Белла и я. А через пару лет, в 47-м, у Любы родился сын…

Но я хорошо помню свое место для игр: в гостиной, перегороженной шкафами, чтобы у молодоженов Любы и Наума был «свой угол», стоял большой обеденный стол, накрытый скатертью с длинными кистями. Вот за этими кистями, под столом, на низкой перекладине, державшей ножки стола, у меня было замечательное место – никто меня там не доставал ни в прямом, ни в переносном смысле. Там у меня были игрушки – самодельный деревянный пистолет и самодельный деревянный корабль, который мне выстругал мой дедушка. И там же, под столом я научился читать. По-моему, сам. Кто мог со мной заниматься? Дедушка целыми днями строчил на ножной швейной машине «Зингер», он был «шапочник» и шил кепки для магазина на Торговой улице. Мама где-то работала. Люба тоже. Наум числился не то моряком, не то грузчиком в порту, иногда его неделями не было дома, Люба говорила, что он ушел в плавание, а дедушка ворчал, что знает он эти плавания.

Еще помню, как я пошел на улицу Карганова в библиотеку. Это было недалеко от нас – всего в трех кварталах. Но нужно было пересечь трамвайную линию на самой оживленной в Баку улице Басина, и это для меня, шестилетнего, было серьезным испытанием. А второе испытание мне устроили в библиотеке. Я не без труда открыл тяжелую дверь, вошел в библиотеку, храбро подошел к библиотекарше, сидевшей за высоким столом, и сказал, что хочу записаться.

– А сколько тебе лет? – спросила она, перегибаясь через стол, чтобы разглядеть меня.

– Скоро шесть! – сказал я гордо.

– И ты умеешь читать?

– Умею.

– Что ж, сейчас проверим… – И она подала мне какую-то книжку. – Читай.

Это был первый экзамен по русскому языку и литературе, который я сдавал в своей жизни. Я открыл книжку и стал по слогам, но внятно и громко, читать. О, если бы все мои экзаменаторы были так добры, как та библиотекарша!

– Молодец! – сказала она. – Какую ты хочешь книжку?

– Стихи, – ответил я.

– Какие? Про что?

– Про Клима Ворошилова. «Климу Ворошилову письмо я написал: товарищ Ворошилов, красный комиссар!»

– А-а, Квитко! – сказала библиотекарша и вручила мне мою первую книжку – толстую, в потрепанной желтой картонной обложке, но с такими прекрасными стихами!

– Анна-Ванна, наш отряд
Хочет видеть поросят!

……..

– Уходите со двора,
Лучше не просите!
Поросят купать пора,
После приходите.

Господи, прошло ***шестьдесят пять*** лет с тех пор, как я, сидя под столом, по слогам упоенно читал эти стихи, но я помню их до сих пор и пишу наизусть…

А детского поэта Льва Квитко расстреляли в 52-м вместе с другими еврейскими «безродными космополитами».

# Школа

В школу меня тоже приняли по экзамену. Я родился 8 октября, а занятия в школе начинаются 1-го сентября, и в то время было очень строго – в школу брали только тех, кому было полных семь лет. А мне до полных семи было больше месяца. К тому же я был и ростом мал – я в эвакуации, на хлебе да картошке, не очень-то подрос. И маме сказали в школе, что нет, таких недоростков они не берут, им гороно запрещает. Но моя золотая мама уговорила их устроить мне экзамен. Не знаю, как ей это удалось – может быть, ей это удалось потому, что она родилась и выросла в Баку и говорила на всех кавказских языках – азербайджанском, армянском и грузинском, не считая, конечно, русского и идиш. И наверное, она просила их на всех языках, Баку в то время еще был очень интернациональным городом. Короче, мне устроили экзамен куда серьезнее, чем в библиотеке. Но когда выяснилось, что я уже свободно читаю, пишу заглавными буквами и считаю до ста, то меня – так и быть! – зачислили в школу. Только сказали, что будут отучать писать левой рукой, потому что в советской школе все должны писать правой.

Мама согласилась, и я стал ходить в школу. Она была недалеко от нашего дома, всего в двух кварталах. Но тоже нужно было пересечь очень оживленную Красноармейскую улицу, по которой все время катили грузовики – вверх на Верхний базар и вниз, к порту.

Пару раз дедушка отвел меня в школу, но потом я взбунтовался – меня и так дразнят, что я самый маленький в классе, а тут еще дедушка меня в школу водит, как в детский сад!

И мне разрешили идти в школу самому.

Я надел форму – китель, мне кажется, тогда нужно было носить, нацепил за спину ранец и пошел по нашей солнечной Бондарной улице. Хотя улица носила гордое имя болгарского вождя Димитрова, она была очень узкой – и тротуары были узкие, и мостовая.

А навстречу мне шла огромная собака. Она была тоже одна, без хозяина или сопровождающего. И она была такая большая – с меня ростом! И шла она именно по моему тротуару!

Встретившись взглядом с ее желтыми глазами величиной с тарелки из сказки про «Огниво», я струсил и решил перейти на другую сторону улицы. Но едва я ступил с тротуара на мостовую, как меня сбил грузовик – причем как! Нижним углом кузова – прямо в висок!

Я упал, грузовик уехал, собака убежала, а я лежал и ревел,

зажимая руками рану, из которой лилась кровь.

С тех пор я никогда не уступаю дорогу никаким собакам, даже самым свирепым и ужасным. Я могу остановиться и дать им себя обнюхать, но уступить им дорогу – никогда!

# Реплика

В 47-м году в Баку было землетрясение. Как раз когда мы на переменке носились по асфальтированному школьному двору, этот асфальт вдруг стал уходить у меня из-под ног, словно земля накренилась. И я побежал под откос, прямо на кирпичную стенку, по которой мы лупили мячом. Причем несло меня с такой скоростью, что я уже не смог бы затормозить и наверняка влепился бы в эту стенку, если бы земля вдруг не поднялась у меня перед глазами, как палуба корабля, взлетающего на встречной волне.

Тут я остановился и расставил, как моряк, ноги, думая, что это такая шутка или такие качели интересные.

А потом выяснилось, что это было землетрясение, но, кажется, без особых жертв, только у бабушки ее драгоценная кошерная посуда выпала из буфета и разбилась да кастрюля с супом слетела с керосинки.

А кроме этого землетрясения, никаких бед в моем детстве не было, я охотно учился, жил в прекрасном, теплом, солнечном городе на берегу Каспийского моря, по утрам мы просыпались от громких криков торговцев рыбой, зеленью и другими товарами знойного юга. Первым появлялся разносчик рыбы. Запряженный в свою скрипучую тележку на двух колесах, он громко, на всю улицу кричал:

– Свежий рыбу пра-адаю! Свежий рыбу!

Бабушка выходила на балкон с плетеной корзинкой, клала в корзинку деньги и спускала ее на веревке вниз. А затем подтаскивала наверх эту уже тяжелую корзинку, заполненную мокрой, свежей, блестящей на солнце кефалью, сазаном или даже осетром.

Затем появлялся другой торговец, он кричал:

– Свежий зелень! Свежий зелень!

И бабушка таким же манером покупала у него тархун, петрушку и прочие травы.

Потом из-за угла выкатывала тележка, запряженная осликом, который тащил бидоны с молоком и ящики с банками мацони. И его хозяин кричал на всю Бондарную, то есть, простите, Димитрова (Бондарной она была до революции):

– Ма-ацони! Маацони-малако! Маацони!..

Далее появлялись продавцы свежих чуреков – «Гаарячий чуреки прадаю!», винограда, персиков, гранатов, – утром за полчаса можно было купить с нашего балкона весь базар.

Затем соседи напротив включали радио, и всю улицу

оглашали звуки домбры, бубна и тонкие, как у евнухов, голоса исполнителей народных мугаммов. На плоские асфальтированные крыши, еще не размякшие под утренним солнцем, выходили соседки и принимались выбивать ковры или шерсть своих спальных матрацев. А днем улицу занимали мальчишки, которые, как безумные, гоняли в футбол…

Впрочем, эту улицу я уже описал многократно – и в «Любви с первого взгляда», и в «Любожиде», и, кажется, в «Журналисте для Брежнева». Но как сказал Гена Шпаликов, «я родом из детства», мое бакинское детство видится мне отсюда безоблачным и ярким, как мозаика в детском калейдоскопе и как «стеклышки»-диапозитивы в сказке про Маленького Мука в «волшебном фонаре» – проекторе моего отца.

Но я сам надломил свою судьбу – на почин, первый раз.

Тогда же, в 47-м мама сказала мне:

– Пришло письмо от твоего отца. Он зовет нас на Украину, в Полтаву. Но я не хочу туда ехать. Как ты думаешь?

Наверное, больше ей не с кем было посоветоваться – мне было почти девять лет, а ей тридцать два, я был для нее уже взрослым мальчиком.

И еще (я понял это много позже) она не хотела сходиться с отцом – они не виделись и не жили вместе уже пять лет. Но как честная женщина, она не могла скрыть от меня отцовское приглашение.

А я, эгоист, как все дети, сказал:

– Ну как же так, мама? У всех есть папы, а у меня не будет?

И эта простая реплика решила всю ее жизнь – она собрала вещи, и мы уехали в Полтаву.

Спустя пятьдесят лет я отдал эту реплику Паше Исаеву, будущему пасынку Достоевского. В сценарии «Влюбленный Достоевский» Мария Исаева, в которую был безумно влюблен 35-летний ссыльный Федор Михайлович Достоевский, смотрит через окно во двор, где ее молодой любовник Вергунов неумело колет дрова, и говорит своему семилетнему сыну:

– Ну что, Паша? За кого же мне замуж идти? Этот молодой, как теленок, а Федор Михайлович нищий. Может, ни за кого не идти?

А Паша отвечает:

– Ну как же так, мама? У всех есть папы, а у меня нет…

И Мария вышла замуж за Достоевского.

А моя мама вернулась к папе.

Из-за одной реплики.

# Полтава

В Полтаве, в 1947 году я впервые увидел войну. Город лежал в руинах – так, словно немцы ушли отсюда вчера. Фрунзе, Октябрьская и все остальные центральные улицы стояли шеренгами четырехэтажных кирпичных остовов с проломленными при бомбежках кровлями и выбитыми окнами, и завалы битого кирпича да красная кирпичная пыль лежали на искореженных мостовых.

А по этим улицам, вдоль разбитых, как черепные коробки с пустыми глазницами, домов, в город, знаменитый крутыми украинскими погромами и шведской битвой, шли беженцы-евреи – они возвращались на свои пепелища, толкая перед собой тележки с обшарпанными фибровыми чемоданами, узлами и баулами. Сверху на узлах сидели дети, сзади, держась за юбки матерей и пиджаки стариков, тоже шли дети, и я никогда не забуду того старика и старуху с жалким скрипучим столиком от швейной машины, нагруженным каким-то нищенским скарбом, – они шли, плакали и пели. Я не знал тогда, что они поют, это было что-то гортанное и совершенно непонятное мне, мальчишке из подвала, где в одной комнате, освобожденной нами от битого кирпича, мы жили еще с тремя семьями. Я смотрел на них с высоты разбитой кирпичной стены и не понимал, как тут можно петь («Мама, они что, мишигине[2], что ли?). Но этот гортанный мотив и вся эта картина с плачуще-поющими еврейскими стариками, толкавшими перед собой станок швейной машинки «Зингер» с нищенским багажом, – эта картина упала мне в сердце, и я несу ее всю жизнь, из книги в книгу, из «Любожида» в «Римский период…». У старика были почти слепые глаза, куцая борода, но хороший, звучный голос. И на этот голос мы, пацаны, вылезали из подвалов и бомбоубежищ.

– Эй, мишигине коп[3]! Ты шо, здурив?

Тридцать пять лет спустя другой великий старик – Леонид Утесов напел мне песню, которую пел тот старик в Полтаве 47-го года, и оказалось, что эта песня – «Хава нагила». Мы ехали с Леонидом Осиповичем из Болшевского дома творчества кинематографистов в Москву, и всю дорогу Утесов, увлекшись, читал или, точнее, напевал мне лекцию по истории советских шлягеров: спев куплет из Исаака Дунаевского или братьев Покрасс, он тут же демонстрировал, что эта мелодия – очередной перефраз еще одного еврейского танца, который до революции играли на свадьбах маленькие еврейские свадебные оркестры.

Позже, в романе «Русская дива», я опишу подробно и эту

поездку, и даже построю на биографии братьев Покрасс, рассказанной мне тогда Утесовым, целую сюжетную линию…

А тогда, в 47-м…

Я до сих пор не могу понять, как мог мой отец – ведь ему было уже 42 года, – как он мог вызвать из теплого, благополучного Баку жену и двух детей и поселить их среди полтавских руин, в бомбоубежище, разделенном простынями на четыре угла для четырех семей…

Впрочем, через какое-то время мы оттуда выселились, отец купил «дом» – четвертушку украинской хаты-мазанки, где у нас было две крохотных комнатки и такая же кухонька с низкими потолками, беленными известкой стенами и настоящей печью, которую нужно было топить углем и дровами. Топила эту печь, конечно, моя мама – она же колола дрова и ведрами таскала для печки уголь из сарая (у нас во дворе были две секции общего с соседями сарая, там в одной секции мама держала уголь и откармливала в клетке гуся, а в другой отец хранил свои «стеклышки» и «волшебные проекторы», которые он скупал на развалах гигантских послевоенных полтавских ярмарок).

Нашими соседями по хате были семейство Гринько с двумя пацанами чуть старше меня, Витей и Толей, и тетя Зина – она, по рассказам, жила во время войны тем, что первой пробиралась на места массовых расстрелов евреев, раздевала еще теплые трупы, отстирывала снятую одежду от крови и продавала ее на рынке.

Меня, как маленького, рыжего, да еще «жиденка», Витя, Толя и другие соседские мальчишки поначалу игнорировали, но потом все-таки стали принимать в свои футбольные игры, но только на роль вратаря. Поскольку обе команды играли в одни ворота – мои, у красной кирпичной стены соседского сарая, то можно представить, сколько мне доставалось скрытых ударов ногами в живот, под дых и по ребрам. Но я терпел, мне очень хотелось дружить с ребятами, быть среди них своим, лазать с ними в соседский сад за яблоками и бегать на Ворсклу купаться. Однажды, пытаясь доказать им свою вратарскую квалификацию, я героически бросился на мяч и до кости ободрал себе локти о гравий и битое стекло, которое кто-то предупредительно рассыпал перед моими воротами.

Но и это не отвратило меня от футбола. Отвратило другое.

У Вити и Толи была собака Пальма. Это была небольшая черная дворняжка – помесь, наверное, благородной таксы с каким-нибудь собачьим плебеем. У нее были карие, умнейшие, навыкате глаза, мягкая короткая шерсть и замечательный характер – она с самого начала приняла и меня, и особенно мою сестренку Беллу, которая постоянно выгуливала во дворе свою

деревянную коляску с двумя тряпичными куклами. Если у меня Витя и Толя еще были в приятелях, то у Белки была только одна подружка – Пальма. С Пальмой Белла нянчила своих кукол, разговаривала и вообще дружила. Наверное, поэтому летом, когда мы обедали в общей, во дворе, беседке, Пальма всегда усаживалась с нами, как полноправный член семьи. И вообще Пальма была душой нашего двора – она могла и за мячом побегать, и каких-то захожих алкашей отогнать, и встретить меня из школы…

Но однажды с Пальмой что-то случилось – она стала как бы не в себе, глаза замутились, характер испортился, озлобился, а из пасти стала капать пена…

Дядя Вася Гринько, отец Вити и Толи, сказал, что ее покусали бешеные собаки, но не повел ее ни к какому ветеринару, а привязал у кирпичной стены – как раз там, где были мои футбольные ворота. Потом он принес ружье и…

Глядя через окно, я видел, как Пальма, взвизгнув, подскочила от его выстрела, упала, вытянулась и издохла. А утрамбованная моими коленями земля впитала ее темную кровь.

Больше я на том месте не мог стоять на воротах и потому перестал играть в футбол, даже не выходил, когда Витя и Толя звали меня.

Сидя дома, я стал читать книги.

Книги в нашей семье играли особую роль.

Маме они заменяли подруг, а отцу горилку. Откуда у моей еврейской мамы могли появиться подруги в Полтаве, знаменитой своими погромами? Когда я теперь, обратным отсчетом, пытаюсь представить себе ее жизнь – с этим углем, с дровами, с сортиром на улице, с гусем или поросенком в сарае, с хождением на рынок и с рынка с тяжелыми кошелками, с постоянной готовкой еды летом на керосинке, а зимой – на печи, с боязнью за двух детей, которых в любой момент могли избить (и били) на улице только за то, что они «жидинята», с еженедельной стиркой вручную и купанием нас всех в цинковом корыте, а потом, в 49-м, еще и с хлебными карточками и ночными очередями за хлебом, – когда я думаю, что вся эта бесконечная, надрывная, круглосуточная круговерть и составляла ее жизнь в ее 32 года, 35 лет и в 37, и так это длилось до самой ее преждевременной, в 56 лет, смерти, – когда, повторяю, я думаю об этом, мне становится не по себе так, словно я, именно я загубил свою золотую, свою дорогую маму…

Тут следует сказать, что папа у меня тоже был замечательный. Он обожал двух людей: Аркадия Райкина и Льва Троцкого. Утром он «под Райкина» говорил маме: «И шо я в тебя

такой влюбленный?» – и исчезал на весь день. Если для мамы найти минутку на своего любимого Бальзака или на песни Александровича было редкой удачей отдохновения от каторжных житейских будней, то отец посвящал себя своему хобби – «стеклышкам» – целиком, а директорство на бухгалтерских курсах и лекции по начертальной геометрии, которые он читал в Полтавском строительном институте – это было для него так, побочное занятие для заработка. Впрочем, со временем «стеклышки» тоже стали приносить какой-то доход – отец сконструировал портативный переносной проектор и стал выступать сначала в детских садах с демонстрацией «волшебных сказок», а затем и в школах с лекциями по астрономии и завоеванию космоса – в сопровождении «живых» иллюстраций, которые он тоже сам создавал на основе публикаций журналов «Знание – сила» и «Наука и техника».

Все-таки это следует представить чуть ярче. Вообразите себе Полтаву году эдак в 50-м или в 52-м. Разруха, карточная система, очереди за хлебом и вообще за всем. Раз в год, перед Днем Сталинской конституции или на Новый год, – снижение цен на спички, соль, керосин и ячневую крупу как проявление новой заботы мудрейшего вождя народов о благосостоянии советского народа. На рынке – шаром покати в связи с очередной кампанией борьбы за укрепление колхозного строя, повышение дисциплины и производительности труда. В ларьке возле церкви торгуют денатуратом, там постоянно, даже на морозе, стоит огромная очередь мужчин и женщин, люди покупают «бутылку в одни руки», отходят от ларька, тут же выпивают из горлышка и замертво валятся в снег.

И в этом коммунистическом раю – на подводах, на лошадях, на каких-то попутных машинах разъезжает по колхозам мой 45-летний отец, лектор общества «Знание», и в школах и клубах рассказывает, под жужжание своего «волшебного проектора» и в сопровождении цветных движущихся диапозитивов, о том, как мы в ближайшее время полетим в космос и на Луну, как люди будут жить на космических станциях и покорять Марс и другие планеты.

Полную программу завоевания космоса от первого полета спутника до сборки космических станций в открытом космосе я знал, наверное, еще до Гагарина. Потому что был единственным доверенным лицом своего «малахольного» отца – мне он, для пробы, читал свои лекции, мне показывал чертежи своих новых проекторов и эскизы макетов космических кораблей, которые потом делал ему из дюраля и алюминия какой-то «левша» в мастерских Полтавской обсерватории. Почему в пору своей

киношной юности я не написал о нем сценарий, ума не приложу! Но может быть, еще не поздно? Сначала на велосипеде, а потом на мотоцикле «Иж» мой отец гонял по Полтаве и области со своими лекциями о космосе, не обращая никакого внимания на растущий вокруг антисемитизм, борьбу с «безродными космополитами» и новую гонку вооружений, навязанную нам проклятыми капиталистами. И при этом еженощно, до двух утра слушал по хрипящему радио «Голос Америки» и «Свободу», называл Сталина «бандитом» и «папашкой» («Не смей при детях! – тихо пугалась мама. – Если ты хочешь сесть в тюрьму, иди и садись! Но молчи при детях!»), а в редкие от работы и лекций вечера учил меня декламировать «Стихи о советском паспорте». С этими стихами я выступал на всех школьных вечерах и концертах во Дворце пионеров. Маленький, рыжий и конопатый, я уверенно выходил на сцену, становился в позу и, набрав воздух, в полный голос вопил:

– Я волком бы
выгрыз
бюрократизм!
К мандатам
почтения нету!
К любым

*(отмашка рукой)*

чертям
с матерями
катись
Любая бумажка!

*(рука в карман)*

Но эту…
Я
достаю
из широких штанин
Дубликатом
бесценного груза:

*(рука выбрасывается вперед, показывая мнимый паспорт)*

Читайте!
Завидуйте! Я – гражданин Советского Союза!

Двадцать пять лет спустя, оформляясь в эмиграцию, я заплачу 500 рублей за отказ от советского паспорта. Но тогда…

Папа, наслушавшийся в двадцатые годы Льва Троцкого, обожал пафос и ставил все мои стихотворные выступления.

Однажды, как раз после такого выступления, я, распираемый гордостью за свою великую страну, шел из школы домой по нашей тихой и зеленой улице Чапаева, как вдруг на меня набросились мальчишки, повалили в пыль, стали совать мне в рот землю и требовать:

– Жри землю, жиденок! Жри землю!

– За что? – спросил я, вырываясь и отплевываясь.

– За то, что вы нашего Христа распяли!

А золотым дипломом моего посвящения в еврейство стала в 1953-м, во время знаменитого «дела врачей, пытавшихся отравить вождя народов», надпись несмываемой кровельной краской на нашем крыльце: «ЖИДЫ! МЫ ВАШЕЙ КРОВЬЮ КРЫШИ МАЗАТЬ БУДЕМ!» О, именно для того я и имел, как и положено рыжему жиденку, круглые пятерки по русскому и украинскому языкам, чтобы, выскочив утром из дома, легко, одним взглядом прочесть эти простые бурые слова и, еще не осмыслив всей глубины написанного, ринуться дальше, вперед, в школу. Но тут, слава Богу, мама схватила меня за рукав, втащила назад в комнату и сказала, что ни в какую школу мы сегодня не пойдем – ни я, ни Белла.

Мы сидели дома несколько дней, и не только мы! Забаррикадировав двери и окна шкафами и буфетами, вся еврейская Полтава сидела по домам, ожидая погрома.

Мы просидели так несколько дней, уже – доносили соседи – погром начался на Подоле у Ворсклы и в Белой Беседке, откуда, по легенде, Петр Первый наблюдал за сражением со шведами и где теперь украинские черносотенцы лихо громили и жгли еврейские дома и убили еврейскую девочку, – когда по радио вдруг объявили о смерти вождя всех народов.

Мы отодвинули комод от двери, открыли ставни.

Стоял солнечный морозный день.

В багровом морозном мареве по всему городу траурно ревели заводские и фабричные трубы.

Мы подождали еще пару дней. Потом папа завел свой мотоцикл и уехал на работу. Мама взяла две кошелки и пошла на рынок. Я увязался ее «охранять». На рынке – открытом, с

прилавками, за которыми украинские продавцы в овчинных тулупах и валенках прихлопывали варежками над смальцем, салом, желтыми тарелками мороженного молока и другим товаром, – черные раструбы репродукторов вещали о разоблачении провокаторши Лидии Тимощук и заговора империалистических разведок, которые хотели разрушить крепкий союз и дружбу всех советских народов.

Моя золотая мама весело шла вдоль этих мясных и молочных рядов и напрямки спрашивала у продавцов:

– Ну, так як тэпэр будэ з жидами?

Но они отводили глаза:

– Та мы шо?.. Мы ничого нэ знаем…

Понятно, что после этих примечательных событий мама перестала выпроваживать меня «погулять на улицу». И я, придя из школы и наспех сделав уроки, тут же заваливался на диван с «Графом Монте-Кристо», «Бравым солдатом Швейком» или с «Золотым теленком». Этот диван был моим ковром-самолетом, на нем я тут же улетал из Полтавы во Францию Дюма и Гюго, в Зурбаган Александра Грина и к молодогвардейцам Фадеева. Я читал запоем – всего Дюма, всего Гюго, всего Грина, всего Катаева, всего Каверина, всего Фадеева и еще бог знает кого, имевшихся в соседней библиотеке на улице Розы Люксембург, а также всего маминого пятнадцатитомного Бальзака. Когда я прочел всю соседскую библиотеку, я записался в городскую, на улице Фрунзе. Там, я помню, давали только по пять книг в неделю, это было нестерпимо, я их проглатывал за два дня и, вынужденный «простаивать», возвращался к своим любимым Иосифу Швейку и Остапу Бендеру. Похождения Швейка и Бендера я знал наизусть, но все равно мог перечитывать и перечитывать и почти на каждой странице буквально падал с дивана от хохота – так, что мама испуганно прибегала с кухни:

– Эдик, что случилось?

Закончив восьмой класс, я дочитал городскую библиотеку, написал свое сотое, наверное, стихотворение и заявил родителям, что в Полтаве мне больше делать нечего, я хочу к дедушке в Баку – там есть литературная среда, там есть литературные журналы, и там я стану поэтом.

Как ни странно, мама меня не стала ни удерживать, ни отговаривать. Она списалась с дедушкой, и летом 1953 года я, в возрасте неполных четырнадцати лет, доехал с отцом до Харькова, а там он посадил меня на поезд «Москва – Баку», и я укатил в столицу солнечного Азербайджана.

# На таран!

Баку был моим Зурбаганом…

Конечно, я не собираюсь ползти по своей биографии, останавливаясь на каждом полустанке. Но Баку…

Впрочем, того Баку, в котором прошли мое детство и юность, уже давно нет.

Он утонул в истории, как Атлантида, как мираж, как гриновский Зурбаган.

Только я, братья Юлик и Миша Гусманы да Рустам Ибрагимбеков можем достать его из прошлого тысячелетия и рассматривать, как призрачный волшебный кристалл, в котором вспыхивают и оживают многоголосые бакинские улицы, где мы играли в футбол и в «лямгу», Приморский бульвар с крутыми фонтанами и скамейками в тени тутовых деревьев, где мы целовали наших первых девочек, пыльный Сабунчинский вокзал, откуда мы уезжали на пляжи, и трамваи, с которых мы спрыгивали на ходу при любой скорости…

Баку тех лет – это больше, чем город, это – понятие, масонская ложа и братство.

Из чего оно складывалось?

Давайте посмотрим. Вот я навожу бинокль своей памяти и вижу свою 171-ю мужскую школу на улице имени Кецховели. В то время еще было раздельное образование мальчиков и девочек, и в нашем девятом и десятом «А» классе было 19 учеников одиннадцати национальностей! Эта взрывчатая смесь азербайджанцев, грузин, армян, евреев, татов, русских и татар терроризировала бездарных учителей и боготворила талантливых. Нашим кумиром был физик Гринберг, который просто играл с нами в физику – так, как, например, играют на сцене Лев Дуров, Леонид Броневой или Михаил Ульянов. Его можно было слушать часами… А самой ненавистной была математичка – уж не помню, как ее звали, на ее уроках можно было заснуть, и я поймал ее на том, что, оказывается, она просто наизусть читала нам учебник, сама не вникая в смысл того, что говорила…

Но самой колоритной была наша директриса – армянка Мария Исаевна.

Когда по понедельникам мы всем классом сбегали после первого урока из школы, чтобы успеть в кинотеатр, где первым сеансом выходил на экраны «Знак Зорро», «Тарзан», «Битва на рельсах» или «Убийство на улице Данте», Мария Исаевна, распахнув руки, уже стояла в позе «Не пущу!» на школьной

лестнице перед парадной дверью и на трех языках – русском, азербайджанском и армянском – поливала нас отборным матом:

– Негодяи! Гётверены! Оболтусы! Кишдылахи! Никто не выйдет из школы! А ну-ка назад, в класс! У вас же физика сейчас, Гринберг!

Мы возвращались в класс, отгибали на окне наружную решетку, на поясных ремнях спускались по стене вниз со второго этажа и, показав Марии Исаевне язык, уходили в кино – весь класс, даже отличники Яник Рыбаков и Расим Гасанов!

Подходя к кинотеатру «Низами» на проспекте имени Кирова, мы уже издали видели перед его кассой огромную толпу такой же, как мы, шпаны, удравшей изо всех бакинских школ к этому первому сеансу. О том, чтобы стать в очередь за билетами, не могло быть и речи – во-первых, никакой очереди не существовало, кавказская толпа в тысячу подростков просто штурмом брала кассу со всех сторон, а во-вторых, ну как можно стоять в очереди?

Нет, мы, подойдя к кинотеатру, выстраивались клином и эдаким живым заостренным тараном с разбегу врезались в толпу всей массой своих девятнадцати тел. Задача состояла в том, чтобы как можно дальше углубиться в толпу – не до самой кассы, на это нашей массы, конечно, не хватало. Но этого и не требовалось. Потому что на излете нашего напора, когда передние и самые высокие Славка Наумов, Толя Брескин и Вовка Грязнов уже теряли скорость и увязали в человеческом месиве, задние поднимали на руки самых маленьких – меня или Эдика Акопова – и, держа нас над головами, торпедами, с рук на руки посылали вперед – все сильней и сильней. И мы, набрав скорость, пролетали по уже чужим головам и сверху ныряли к решеткам кассы, совали в окошко кулак с зажатыми в нем деньгами:

– Девятнадцать билетов!

Однажды, когда наш класс таким же макаром уже выстроился в клин для очередного прорыва к кассе «на таран», к нам подошел наш любимый физик Гринберг и сказал, протягивая деньги:

– Ребята, мне тоже билет.

Гринберг был человек!

# Медалист

Кино в моей жизни сыграло много ролей – как хороших, так и плохих.

Начну с хороших.

Зимой 1955 года на экраны вышло два совершенно разных, но для меня этапных фильма – мосфильмовский «Убийство на улице Данте» и бельгийский «Чайки умирают в гавани». Я дружил со Славкой Наумовым, мы вместе – у него дома – делали все уроки и вместе ходили в кино. Кроме нашей школы, Слава учился в музыкальной десятилетке при Бакинской консерватории, у него был абсолютный слух и длинные тонкие пальцы прирожденного пианиста – в двадцатые годы его дедушка по фамилии Яблонко был дирижером в Бакинской филармонии. Поэтому «Убийство на улице Данте» и «Чайки умирают в гавани», которые мы посмотрели одиннадцать раз, мы знали наизусть – Слава знал всю музыку, а я – за неимением музыкального слуха – все диалоги.

И соответственно в школе мы разговаривали только цитатами из фильма – я словесными, а Слава музыкальными. Про словесные все понятно – на любой вопрос соседей по партам я легко откликался репликой из фильма, а Славка… Он в ответ на любой вопрос изображал руками саксофон и трубил – имитировал кусок соответствующей мелодии.

Причем делать это полагалось не только на переменах, но и на уроках.

Не помню, чем это обернулось для Славы, но мой конфликт с математичкой перерос в затяжную, на весь десятый класс, войну. После того как я обнаружил, что она читает нам математику наизусть по учебнику, я заявил ей, что вызубрить учебник мы можем и сами, без ее помощи, а посему слушать ее я не намерен и впредь прошу ее не задавать мне никаких вопросов и не вызывать к доске.

После этого я демонстративно достал из парты Цвейга и углубился в чтение.

Цвейг, Мопассан, Стендаль и Фейхтвангер были в то время моими любимыми писателями, и я улетал с ними так, что совершенно не слышал ни класса, ни математички, которая, оказывается, все-таки вызывала меня к доске, а когда я не вставал, ставила мне в журнал двойку.

Так это и продолжалось ровно три четверти – на уроках математики я читал своих любимых классиков, получал колы и двойки, но дома, чтобы не отстать от Славки, исправно читал учебник, выполнял все домашние задания и потому на

контрольных получал четверки. Пятерки математичка не ставила мне из чистой мстительности, да и было за что – регулярно перед ее уроком я на школьной доске писал на нее эпиграммы. Поскольку в школе был только один записной поэт школьной стенгазеты, ей нетрудно было угадать автора этих эпиграмм. Таким образом, по трем предметам – алгебре, геометрии и тригонометрии – у меня за четверть набиралось штук двадцать двоек и пять-шесть четверок, что в среднем давало тройку в конце четверти.

Только в конце года я опомнился, пришел к директору школы и сказал:

– Мария Исаевна, если я все выпускные экзамены сдам на «отлично», мне дадут медаль?

– Ты не сдашь на «отлично», – сказала Мария Исаевна.

– Сдам, – сказал я. – Я знаю математику не хуже Наумова, а Славка идет на медаль.

– Знать ты, может, и знаешь, но она тебе «отлично» никогда не поставит.

– А если я всё отвечу?

– Это уже не поможет, ты ее три четверти доводил…

– Но я же еврей, Мария Исаевна! Без медали меня не примут в университет!

– Раньше нужно было думать и меньше эпиграмм писать! Иди отсюда, медалист сраный! – сказала Мария Исаевна.

Я ушел и стал, как зверь, готовиться к выпускным экзаменам – ну как, я думал, можно влепить человеку четверку, если он на устных экзаменах всё ответит, а на контрольных решит все задачи?

Наступил июнь, кончилась четвертая четверть. По всем предметам, кроме английского и математики, у меня были пятерки. Английский я на «отлично» выучить не мог ни тогда, ни даже за тридцать лет эмиграции, но четверку я у англичанки легко зарабатывал переводами английских поэтов, и особенно ее любимого Томаса Мура…

Если бы я сдал математику на «отлично», я – с одной четверкой в аттестате – получил бы серебряную медаль.

Но Мария Исаевна оказалась права – на выпускных экзаменах математичка сквиталась со мной за все мои эпиграммы и лишила меня медали.

Убитый, я после последнего экзамена плелся по городу. В 1955 году поступить еврею без медали в университет, даже в Бакинский, было нереально, это знал в городе каждый.

Я плелся по городу и думал, что будет с моими родителями, если я покончу с собой – брошусь вниз головой с Девичьей башни

в Старом городе или утоплюсь в Каспийском море.

Проходя по Торговой улице, я увидел, что в кинотеатре «Вэтэн» (Родина) идет новый фильм «Белоснежка и семь гномов». Чтобы не идти домой, я зашел в кино.

Через два часа я вышел на улицу другим человеком.

Мне было наплевать на математичку, на четверки в аттестате и вообще на все на свете! Мир опять обрел свои волшебные, свои переливчатые краски и звуки. Вокруг меня из растворов бакинских дворов снова доносились запахи шашлыков, стук нард и громкоголосые мугаммы. Гудели, проезжая, машины – просто так, чтобы все слышали владельца этой «Победы» или «Москвича». На перекрестках стояли компании парней в кепках-«аэродромах», они курили папиросы «Беломор» и прицокивали языками вслед каждой проходящей девушке:

– Вах-вах-вах! Какая жопа!..

А я шел мимо них домой и весело, громко пел куплеты гномов.

Его высочество кинематограф и лично товарищ Уолтер Дисней звали меня в свои ряды.

# Аликперли

Из нашего класса сорвиголов, шпаны и хулиганов, срывавших уроки, выломавших однажды батарею парового отопления, чтобы залить класс кипятком и под этим предлогом оторваться в кино, и спешивших на занятия по военной подготовке только для того, чтобы схватить ружья и бежать с ними в соседнюю женскую школу пугать девчонок, – из этого класса поступили в вузы практически все – Наумов в нефтяной на геологоразведочный факультет, Рыбаков, Гасанов и Липович – в индустриальный, Таирбеков и Риза-заде – в университет, Шикаушвили – в медицинский, и даже Толя Брескин – в физкультурный.

Правда, за Брескина мы сдавали экзамены всем классом: я пошел за него писать сочинение, Наумов – математику, Липович – физику, и только бег и гимнастику Брескин сдавал сам. И – получив пятерки по всем предметам – Брескин был принят в Физкультурный институт на факультет футбола.

И только одного человека из нашего десятого «А» класса не приняли в вуз – меня.

Я поступал на филологический факультет Азербайджанского государственного университета и отличился на первом же письменном экзамене по литературе – написал сочинение в стихах. Это было сенсацией филфака, на устном экзамене по литературе со мной говорили о поэзии Низами и Руставели, на экзамене по английскому языку – о поэзии Уитмена и Байрона, и всюду мне ставили «отлично», и я сказал дедушке, что университет у меня уже в кармане. Но кафедра истории КПСС была начеку, и, посчитав мои баллы, мне на экзамене по истории СССР поставили просто «двойку» – иначе я мог действительно пройти по конкурсу без всякого блата или взятки. А это был бы нонсенс, вызов всем университетским порядкам и правилам.

Убитый, я не знал, куда мне деваться от стыда перед дедушкой и бабушкой и что мне вообще дальше делать.

Первого сентября все мои школьные друзья исчезли, они стали студентами и ушли учиться в свои институты – все, даже наш заядлый уличный футболист Толя Брескин.

А я сидел на балконе, грыз ногти и снова думал, что проще: прыгнуть с Девичьей башни или утопиться в Каспийском море?

Какая-то красивая и стройная девушка-азербайджанка остановилась под нашим балконом, подняла голову и спросила:

– Это Димитрова, 57?

– Да, – сказал ей мой дедушка.

– А шестая квартира где?

– Здесь, у нас, – сказал дедушка.

Девушка вошла в наш раствор, поднялась на второй этаж, прошла по общей галерее-веранде и постучалась в нашу дверь. Дедушка ей открыл, она сказала:

– Здравствуйте, мне нужен Эдуард.

– Это я… – сказал я, краснея.

Тут я должен пояснить весь сюр ситуации. Чтобы молодая азербайджанка открыто, на глазах всего дома и дюжины соседей пришла в чужую квартиру к незнакомому юноше, да еще и не азербайджанцу, – это было нечто не просто из ряда вон, а совершенно исключительное, даже немыслимое!

– Здравствуйте, – еще раз сказала мне смелая черноглазая красавица. – Меня зовут Фируза, я дочка профессора Аликперли. Мой отец приглашает вас к нам на обед, сегодня, в семь часов вечера. Вы сможете прийти?

Оторопев от изумления, я проглотил язык и стоял с разинутым ртом. Профессор Аликперли был деканом филологического факультета Азербайджанского университета – того самого, куда меня не приняли! И он же приглашал меня на обед? К себе домой?!

– Он придет, – ответил за меня дедушка.

Девушка оставила свой адрес и ушла, цокая по лестнице деревянными каблучками. В воздухе от нее остался запах жасмина и ощущение полного сюрреализма.

– Что ты стоишь, как шлимазл[4]? – сказала бабушка. – У тебя есть чистая рубашка?

…Этот день видал, чего не взвидят сто!

Только сегодня, отсюда, из следующего тысячелетия своей жизни я могу оценить поступок профессора.

Он пригласил меня не просто на обед, он устроил мне типично восточный прием поэта поэтом!

В просторной и чуть затененной комнате мы сидели с ним вдвоем на ковре перед низким, очень низким столиком, сидели друг против друга, а Фируза прислуживала нам совершенно молча – она приносила на подносе чай, виноград, закуски, шашлыки и снова чай – и тут же бесшумно исчезала, не мешая нашей высокоинтеллектуальной беседе.

Сначала мы говорили о поэзии классиков. Я, считая себя знатоком раннего и позднего Маяковского, Блока, Надсона, Багрицкого, Есенина и Уткина, излагал свои взгляды на имажинистов и футуристов, а профессор сообщил мне, что, учась в Сорбонне, он увлекался Фирдоуси и Хайямом. Затем, покончив с теорией, мы перешли к собственным стихам, я читал

профессору свои вирши, а он мне – свои.

Наш поэтический турнир затянулся допоздна, и только в самом конце вечера, провожая меня к двери, профессор сказал:

– Когда я узнал, что вас срезали на последнем экзамене, я пошел к ректору и у нас состоялся длинный разговор. Прошу вас на следующий год поступать к нам повторно, я уверен, что вы будете учиться на моем факультете.

Думаю, что яснее выразиться уже было нельзя.

Воспрявши духом, я вернулся домой. Мне показалось, что дедушка смотрит на меня какими-то другими глазами. И действительно, он сказал:

– Смотри, в чем ты ходишь! Нужно тебе новую кепку сшить…

# Одесские рассказики

Давным-давно, в пору моей журналистской юности, я оказался в Мирном, в Якутии, на алмазной фабрике, которая охранялась почище секретной ядерной базы – специально тренированной охраной, бетонным забором с колючей проволокой и КПП, на котором после каждой смены всех работников фабрики раздевали догола и так, голяком, из одной раздевалки переводили в другую, где была их цивильная одежда. То есть и муха не могла пролететь на эту фабрику или вылететь из нее без специального допуска и пристального досмотра. Но я приехал, вооруженный командировочным удостоверением «Комсомольской правды», а в то время такая «ксива» открывала любые двери – в ней от имени ЦК КПСС было обозначено, что все государственные и партийные органы обязаны оказывать помощь собкору газеты.

Так я получил доступ в алмазные закрома страны, но водил меня по этой фабрике сам начальник охраны или, как теперь говорят, службы безопасности. Вокруг был грохот «грохотов» – гигантских барабанов, в которых дробилась тундровая порода, окаменевшая в вечной мерзлоте и привезенная на фабрику 40-тонными «уралами» из алмазоносного карьера – трубки «Удачная». Дробленая порода пересыпалась из одного «грохота» в другой, все мельчая и мельчая, а затем – уже в виде порошка и пыли – текла по резиновой ленте конвейера к огромным дрожащим ситам, через которые уходила пыль, оставляя на поверхности сита невзрачные серые «рисинки» – алмазы.

– Вот наш конечный продукт, – гордо сказал мне начальник охраны, показывая на эти «рисинки». – Здесь наши работницы собирают их в банки, опечатывают и сдают в лабораторию на промывку и калибровку. А из лаборатории цельные алмазы уходят на огранку и в ювелирку, а остальное, технические алмазы, – в сверла…

– Так вот они какие, алмазы! – сказал я и небрежно зачерпнул из сита горсть этих «рисинок».

И в тот же миг лица всех мастериц вокруг меня вытянулись и побелели, а начальник охраны, разом побагровев, хрипло выдохнул:

– Замри! Руку не поднимать!

Я замер, удивленно посмотрел на него.

Его глаза и глаза всех остальных вокруг меня цепко, как в прицеле, держали мою руку с зажатыми в ней грязными алмазами.

– Не поднимать! – хрипло повторил начальник охраны. – Медленно открыть ладонь! Медленно!

Я осторожно открыл ладонь, и алмазики высыпались на сито.

Вздох облегчения раздался вокруг.

– Вытряхнуть рукав! – приказал начальник.

Я стряхнул рукой, не поднимая ее, чтобы и мысли у них не возникло, будто я мог пару алмазов сбросить себе в рукав.

Краска вернулась на лица окружающих, а начальник охраны снял шапку-ушанку и утер ею свой вспотевший лоб.

– Ё-моё! – сказал он. – Вот и пускай этих журналистов! Я б вас не только на фабрику – и в карьер бы не пускал!

* * *

В карьере моей памяти, уже давно окаменев, серыми «рисинками» лежат воспоминания об Одессе. Но спустя 35 лет после своего последнего пребывания в Одессе я снова оказался там, на несостоявшемся празднике кино под названием «Эхо “Золотого Дюка”», и эти «рисинки» сами всплыли и потекли по конвейеру памяти. Вот они – неполированные, без огранки, просто горсть воспоминаний в лучах сентябрьского одесского солнца…

Еще в детстве, зачитываясь Бабелем, Багрицким и Грином, я мечтал об Одессе. Но я родился в Баку, войну – младенцем – провел в Сибири, детство – в Полтаве, армейскую юность в Эстонии, а газетную – снова в Баку. В 21 год меня наконец приняли во ВГИК, я гордо сообщил об этом своему патрону Н.Н. Гладилину, бывшему главному редактору газеты «Бакинский рабочий», которого выставили из Азербайджана (частично из-за моих фельетонов) и которого Л.И. Брежнев перевел в Кишинев главным редактором «Советской Молдавии».

– Приезжай в гости! – сказал мне по телефону Николай Николаевич.

Я взял в «Комсомолке» командировку в Молдавию и приехал в Кишинев.

Гладилин решил показать своей редакции «пацана», которого он сделал «человеком», и потому устроил мне царский прием – меня ждал «люкс» в лучшей гостинице, редакторская машина, юная журналистка в сопровождение и знаменитые Крюковские подвалы Молдавского института виноделия. После трех дней в Кишиневе Гладилин спросил:

– Куда ты теперь?

– В Одессу, – сказал я. – Всю жизнь мечтал…

Он усмехнулся:

– Ладно, так и быть – возьми мою машину с шофером и дуй в Одессу! На три дня машина твоя!

В Одессе я с помощью местных журналистов первым делом разыскал старика по фамилии Борисов, который лично знал Бабеля, Багрицкого и Катаева. Я усадил его в машину, и в современной – на ту пору – Одессе этот Борисов показывал мне Одессу 20-х годов. Он отвез меня на квартиру Багрицкого, но ее я уже не помню, зато хорошо помню квартиру Бабеля.

На одной из центральных улиц – кажется, на Большой Арнаутской – Борисов сказал:

– В этом доме жил Бабель, на третьем этаже.

– Пошли посмотрим…

– Но там нет музея, там просто коммунальная квартира.

– Не важно, идемте!

Я был молод и напорист до нахальности, мы поднялись на третий этаж, я уверенно нажал на кнопку звонка в какой-то двери.

Дверь открыла женщина лет 35-ти, в несвежем домашнем халате и с лицом, зачумленным домашними хлопотами. Из-за ее спины пахло кипяченым бельем и детскими горшками. Но меня и это не остановило, я соврал, что пишу для «КП» очерк о Бабеле и мне позарез нужно описать в этом очерке его квартиру. Женщина нехотя отступила, и я оказался в большой, залитой солнцем трехкомнатной квартире Бабеля, где теперь жили две семьи, и комнаты на каждой половине были забиты дешевой совковой мебелью и увешаны бельевыми веревками с сохнущими пеленками, чулками и простынями.

– А какая-нибудь старая, от Бабеля, мебель осталась? Какие-нибудь вещи, книги?

– Нет ничего, – сухо сказала женщина.

Я разочарованно направился к выходу и вдруг увидел камин.

Это был замечательный камин! С высокими и изящными чугунными створками перед очагом, он был оправлен голубым старинным кафелем с какими-то завитками и ангелочками и резко диссонировал с кондово-совковой мебелью нынешних обитателей этого жилища – как британский денди в тюменской пивной.

Конечно, это был камин Исаака Бабеля. Он сидел перед ним сырыми зимними вечерами, помешивал в нем дрова и, грея руки над огнем, писал здесь мои любимые «Одесские рассказы». Мне показалось, что я разом увидел эту картину – горящий камин, Бабеля, закутанного в плед, и его машинку «Ундервуд»…

Я стоял, смотрел на этот камин и второй раз в жизни жалел о том, что живу, как перекати-поле, без своей квартиры. Первый раз это было на ирано-азербайджанской границе, когда секретарь местного райкома партии предлагал мне взятку – замечательного, ростом с теленка, двухлетнего Майкла, немецкую овчарку чистейших кровей – только за то, чтобы я не писал фельетон о коррупции и беспардонном воровстве в этом районе. Майкл был настолько хорош, и мы с ним так подружились, что ради него я мог бы и дрогнуть – в конце концов, даже когда после моих фельетонов снимали с работы каких-то воров и жуликов, то на их место сажали новых, ничем не лучше… Но я жил тогда у дедушки в Баку, в его многосемейной квартире, и привезти в эту квартиру пограничного пса было совершенно невозможно…

А теперь я запросто, за гроши мог выкупить у этих людей камин моего любимого, моего обожаемого Исаака Бабеля, которого я знал наизусть. Но куда перевезти его?

Я глубоко вздохнул и пошел к выходу. По паркету, который тоже скорее всего принадлежал когда-то Бабелю и который я тоже мог бы выкупить у этих людей.

Представляете – у меня могли быть пол и камин самого Бабеля!!!

Мы вышли из дома Бабеля, зашли в соседнюю кофейню, и молодая грудастая и бедрастая буфетчица сделала нам такой кофе, что… Да, с этой минуты мы стали ездить по Одессе странным маршрутом – куда бы ни вез нас Борисов, мой водитель-молдаванин почему-то каждый раз останавливался возле этой кофейни, и мы снова пили кофе, а водитель, не спуская глаз с ядреной груди буфетчицы, выпивал три чашки. Через три часа и после восьмого захода в эту кофейню я вдруг заметил, что он засыпает за рулем – кофе в больших дозах действует, оказывается, точно так же, как большая теплая грудь – усыпляюще…

* * *

С Володей Двинским, замечательным режиссером-документалистом, который привез на «Эхо “Золотого Дюка”» свой новый фильм «Жила-была Одесса», и его милой женой Татьяной мы сидели над морем в чудном ресторане «Кавказская пленница» на Восьмой станции Фонтана, ели жареную черноморскую кефаль и другие волшебные изыски грузинско-одесской кухни, пили хорошую водку, и я рассказал им об этом камине Бабеля и

бедрасто-грудастой буфетчице, а Володя в ответ рассказал мне историю про бабелевский «Ундервуд».

Никакого «Ундервуда» у Бабеля не было, и печатать на машинке он скорее всего не умел. В тридцатые годы, сказал Двинский, в канун какого-то праздника газета «Правда» решила взять у Бабеля интервью. С писателем созвонились, договорились, что пришлют к нему корреспондента. И молодой правдист тут же выехал из Москвы в Одессу, прикатил на Большую Арнаутскую, поднялся на третий этаж, позвонил в квартиру классика. Но классика дома не оказалось, правдисту сказали, что Бабель будет позже. Молодой журналист погулял по городу, выпил сельтерской с сиропом, вернулся на Большую Арнаутскую. Но Бабеля опять не было. Журналист снова погулял, выпил кофе с рогаликом, еще раз позвонил в бабелевскую квартиру. Тот же ответ. «Извините, – сказал правдист. – У меня командировка на один день, мне скоро на поезд, вы не знаете, где сейчас может быть товарищ Бабель?» «Конечно, знаем, – ответили ему. – Он на Молдаванке у своей машинистки».

Правдист отправился на Молдаванку. Точного адреса ему не дали, сказали, что там любой покажет. И действительно, первый же прохожий на Молдаванке сказал правдисту:

– Машинистка Исаака Бабеля? Вот так пройдете двором, повернете налево и еще через один двор услышите эту машинистку!

Правдист пошел в указанном направлении.

И что вы думаете? Не прошел он и половины пути, как услышал стук пишмашинки и такие слова:

– Исаак, ша! Я за вами не успеваю!.. Слушайте, Исаак, не надо меня учить, я сама знаю, как это пишется по-русски!.. Иссак, не морочьте мне голову! Идите погуляйте пять минут, я вам сама все напечатаю!

Правдист зашел во двор, откуда слышался этот капризный голос, и увидел поразительную картину.

Двадцатилетняя девка в коротком летнем сарафане, из которого яростно выпирали все ее спелые прелести, королевой сидела на веранде за «Ундервудом», а у ног ее, на краешке лестничной ступеньки, скромно примостился знаменитый Исаак Бабель, бывший буденновец и классик советской литературы.

Конечно, правдист представился, классик вспомнил о своем обещании дать газете интервью, поднялся и вышел с журналистом на улицу, чтобы ответить на его вопросы. Но прежде чем начать интервью, журналист сказал:

– Исаак Эммануилович, я дико извиняюсь, можно сначала вопрос не для газеты?

– Валяйте, – разрешил классик.

– Скажите, пожалуйста, вот вы бывший буденновец, знаменитый писатель и, можно сказать, классик при жизни. Как вы можете какой-то девице позволять так с вами разговаривать?

– Ах, молодой человек! – ответил классик. – Одно движение бедра этой девицы стоит всей мировой литературы!

– Вам нужно поехать на Привоз! – сказал мне старик Борисов. – У нас на Привозе можно купить все – от рукописей Эйзенштейна до секрета атомной бомбы!

Я послушно поехал на Привоз. Секретов атомной бомбы я не искал (возможно, они там действительно были), а вместо рукописей Эйзенштейна я, бродя по бесконечным торговым рядам, купил какие-то крошечные и тоненькие, издания двадцатых, на ломкой бумаге, годов сборнички стихов Хлебникова, Ахматовой и еще кого-то. А затем поднял с расстеленного на земле коврика томик Ольги Форш и спросил у продавца:

– Почем?

– Два рубля, – ответил тот.

Я сунул руку в карман, но тут Борисов, мой гид, взял у меня эту Ольгу Форш, повернул ее, заглянул на цену на задней обложке и сказал продавцу:

– Та шо ты дуришь парня? Она в девках рупь двадцать стоила!

Второй раз я побывал в Одессе спустя много лет, уже после окончания ВГИКа. Мой вгиковский приятель Жора О. получил постановку на Одесской студии, прилетел в Москву, разыскал меня в очередной съемной квартире и сказал, что я должен написать для него сценарий на морскую тему.

Я изумился:

– Я – на морскую тему? Да я даже плавать не умею!

– Не важно, – сказал Жора. – Зачем тебе плавать? Тебе нужно писать, а не плавать. Собирайся, мы летим в Одессу. Познакомишься там с моряками Одесского пароходства, и мы напишем сценарий вместе, за пару месяцев!

Это было замечательным свойством большинства советских режиссеров – с ходу становиться соавторами вашего сценария даже в том случае, если они, как мой друг Жора, писали слово «корова» через три «а».

Через неделю мы прилетели в Одессу, и в первый же день Геннадий Збандут, директор Одесской студии, которому эта студия обязана своим расцветом (здесь в ту пору начали свою

режиссерскую карьеру и Марлен Хуциев, и Петр Тодоровский, и Слава Говорухин, и многие другие), – так вот, в первый же день этот Збандут под мою коротенькую заявку на морской сценарий не только выдал нам аванс размером аж в тысячу рублей, но и доверительно запер меня в своем директорском кинозале и показал мне очередной запрещенный фильм Киры Муратовой «Долгие проводы» с Зинаидой Шарко в главной роли.

Я смотрел этот фильм один, поздно вечером, в закрытом просмотровом зале. Когда фильм закончился, было уже десять вечера. Я вышел из зала на студийный двор, черная южная ночь накрывала студию и каштаны у ее проходной. Но в каком-то кабинете еще горел свет, я заглянул туда, там сидела синеглазая красотка Нина, секретарша сценарной коллегии и одна из шести бывших жен известного в те годы режиссера детских фильмов. Я спросил у нее, где живет Кира Муратова.

– А в моем доме! – сказала Нина. – Ну, то есть в студийном, через дорогу от студии, где я живу, Петя Тодоровский и Збандут. А Кира – на втором этаже, первая дверь слева.

Я вышел со студии. Морской ветер гнал по улице серые катышки тополиного пуха, и полная майская луна блестела в трамвайных рельсах, проходящих вдоль студийного забора. Я сел в подошедший трамвай и, нянча в душе каждый кадр «Долгих проводов» так, как нянчит – по словам Иосифа Уткина – «девочка больную куклу, как руку раненый солдат», отправился в центр города. Я хорошо понимал, что я только что увидел настоящий шедевр киноискусства. Шедевр, который никто не увидит никогда, потому что советская власть *никогда* не выпустит на экраны *такой* фильм. Это было непреложно, я был уже взрослый мальчик и знал правила игры в советское искусство.

В центре Одессы, где-то на Приморском бульваре, я нашел цветочный киоск, купил букет цветов и снова трамваем вернулся к студии. Четырехэтажный кирпичный дом, в котором жили Тодоровские, Збандут и все остальные студийные сотрудники, стоял напротив студийной проходной, в тени пышных каштанов. Я вошел в полутемное пыльное парадное и по стоптанным ступеням, вдоль ядовито-зеленой стены с выцарапанными на ней словами из трех букв поднялся на второй этаж. Слева от лестничной площадки была стандартная бурая дверь с номером 15 и черной кнопкой звонка. Приглушая колотившееся сердце, я нажал эту кнопку. С таким душевным трепетом звонят, наверное, поклонницы к Феллини, Мастроянни и Вячеславу Тихонову.

Дверь открылась удивительно быстро, почти тотчас. За ней, подоткнув за пояс подол холщовой юбки, стояла невысокая, круглолицая молодая женщина с мокрой половой тряпкой в

руках. У ее босых ног на мокром полу зияло ведро с темной водой, и капли такой же темной воды капали в это ведро с грубой мешковины ее половой тряпки.

– Простите, – сказал я. – Кира Муратова тут живет?

– Да, – ответила босая женщина. – Это я. – И тыльной стороной ладони убрала волосы с потного лба.

– Здравствуйте, это вам. – Я протянул ей цветы. – Я только что посмотрел ваш фильм и набрался наглости побеспокоить вас только для того, чтобы сказать: вы гениальный режиссер! Феллини, Антониони и вы! Пожалуйста, возьмите эти цветы. Это от всей души. И – счастья вам!

По-моему, она была ошарашена моим букетом не меньше, чем я ее половой тряпкой. Молча и каким-то замороженным жестом она взяла у меня цветы, и, прежде чем она успела сказать «спасибо», я поцеловал ее мокрую руку и тут же, как мальчишка, сбежал по гулкой лестнице вниз.

С тех пор прошло больше тридцати лет. Из них последние двадцать с гаком я прожил в Америке. Но и до этого, да и в последние годы, во время моих наездов в Россию, я не раз видел Киру Муратову то в Доме кино, то в Союзе кинематографистов. Но я так никогда и не подошел к ней, не представился и не напомнил о том букете цветов. Зато всегда, когда я вспоминаю Одесскую студию, я вспоминаю ее гениальный фильм и свой скромный романтический поступок в тот первый одесский вечер.

Но, начавшись так высоко, мой роман с Одесской киностудией вошел потом в смертельное пике.

Впрочем – не сразу. Сначала был медовый месяц, подкрепленный, как я уже сказал, мощным студийным авансом. Тысяча рублей были в то время гигантские деньги, даже больше, чем сейчас тысяча долларов. И мы с Жорой сорили ими, как майские тополя сорят тополиным пухом. Юный бармен Гена из ресторана Одесского морвокзала стал нашим лучшим другом и завсегдатаем «Куряжа» – студийного общежития для приезжих режиссеров, операторов и актеров.

Я буду последним литературным ничтожеством, если немедленно не остановлюсь и не скажу о «Куряже» хотя бы несколько возвышенных слов. Потому что двухэтажный барак «Куряжа» тех лет был этаким южным гнездищем, в который слетались после ВГИКа кинематографические птенцы, чтобы, оперившись на Одесской студии одним-двумя удачными фильмами, уже матерыми кинематографическими орлами отправиться на «Мосфильм», «Ленфильм» и студию имени Горького. Именно тут в крохотных, как пенал, комнатках

«Куряжа» жили до нас Хуциев, Миронер и Тодоровский, когда делали свою «Весну на Заречной улице», а при мне, в 1970–1971 годах, тут обитали и гениальный оператор Киры Муратовой Гена Карюк, и герой Отечественной войны и всех диссидентских баталий в Союзе советских писателей поэт и кинорежиссер Григорий Поженян, и легендарный вгиковский бомж и кинорежиссер Валентин Казачков, и постановщик «инородных» для советского кино мюзиклов Юрий (Георгий) Юнгвальд-Хилькевич, и внештатный денди Черноморского флота Станислав Говорухин, и залетавшие к нему на съемку «Робинзона Крузо» Леонид Куравлев и Владимир Высоцкий. Кто-нибудь из нас постоянно получал авансы, гонорары, постановочные или просто зарплату, и потому в «Куряже» всегда было много пришлого народа, каких-то прилетевших на кинопробы актрисуль, а также – вина, водки, жаренных на электроплитке бычков и мидий. И почти никогда тут не было никакой иной еды, и за хлебом нужно было бегать в студийную столовую. Зато по утрам и по ночам здесь истово стучали пишмашинки, здесь бесконечно репетировались сцены для завтрашних съемок, здесь вдохновенно сочиняли музыку и столь же вдохновенно занимались любовью, и Володя Высоцкий, лежа как-то на раскладушке в моей комнате, даже в хмельной отключке бормотал и выкрикивал во сне: «Идет охота!.. Идет охота на волков!.. Идет охота…».

Да, «Куряж» тех лет был как бы продолжением вгиковского общежития, о котором мне еще предстоит где-нибудь рассказать…

Но сейчас речь не о нем.

* * *

Котлеты, которые я попробовал в студийной столовой в день своего приезда, оказались такие сладко-отвратительные, что меня чуть не стошнило. «Это китовое мясо, – объяснили мне, – настоящего мяса в Одессе нет ни за какие деньги».

Но когда у вас в кармане тысяча рублей (не нынешних деревянных, а советских по курсу 90 копеек за доллар), вам кажется, что вы можете купить весь мир. Во всяком случае, вкусно пообедать сам Бог велел, не так ли?

Назавтра я шел по центру города, и карманы моих самопальных джинсов оттопыривались пачками денег. Я чувствовал себя богачом и ужасно хотел есть. И тут мне на глаза попалась вывеска ресторана «Кавказский». Я зашел туда. Большой зал ресторана был абсолютно пуст, маленькие столики были

застелены белоснежными скатертями, под потолком кружил вентилятор. Я сел за столик в самой глубине зала, открыл меню и удивился – все было. Был шашлык, была бастурма, люля-кебаб и даже мои любимые сациви. «Ну вот же люди – так клевещут на советскую власть!» – подумал я и поднял глаза на бедрастую молодку-официантку, которая гарцующей походкой юной кобылицы и Клавы-машинистки Бабеля подошла к моему столику.

– Сациви, шашлык, зелень и бутылочку саперави, – по-барски распорядился я.

– Сациви и шашлык из китового мяса, – сообщила она, записывая мой заказ.

– Как это из китового? – изумился я.

– А шо, ты китовое мясо нэ можешь кушать?

– Не могу, – признался я. – Мутит даже от одного этого слова!

И вдруг она нагнулась ко мне, враз утопив мою голову в пряном разломе своей пышной украинской груди, обняла за пояс, бедром подняла меня со стула и, подталкивая своей мягкой рукой, заботливо повела к выходу из ресторана, говоря тихо на ухо:

– Тогда иди отсюда, милок! Мой тэж не можэ китовое мясо кушать. Вчера чуть не вбил меня за борщ с китовым мясом! Иди, дорогой, лучше хлеба простого покушай…

В результате нашей с Жорой недельной гульбы в ресторане Одесского морвокзала его бармен Гена стал на ты со всеми кинозвездами «Куряжа», а я – с половиной спившихся моряков Одесского пароходства. И когда я терзал очередного из них своими вопросами о морском быте и работе, он вдруг сказал:

– Я знаю, кто вам нужен! Капитан Кичин! Пусть он расскажет вам свою историю! Как его наш КГБ употребил! Только черта с два вы про это кино сделаете!

– Да уж, конечно! Черта с два! – в унисон поддержали его остальные морские волки, сидевшие за нашим столом. – Но Кичин – это да! Это человек! Лучшим капитаном пароходства был!..

И рассказали мне уникальный сюжет о том, как моряки советского сухогруза «Мытищи», совершая рейс с грузом оружия из СССР в Северный Вьетнам, спасли горящее югославское грузовое судно «Требинье». И как потом Одесский КГБ больше года терзал Евгения Кичина, капитана «Мытищ», якобы за контрабанду, а на самом деле за то, что он отказался платить им «налог» – оброк импортными шмотками, которые каждый моряк должен был в те годы платить им за право выхода в загранку.

Подробнее я рассказал историю капитана Кичина в книге «Игра в кино», а сейчас в Одессе, разгуливая по Дерибасовской с Володей Двинским и его женой, я вспомнил совсем другое. Написав на основе рассказов Кичина и других моряков первый вариант своего морского сценария, я отправил его из Москвы на Одесскую студию и уже через неделю получил телеграфный вызов на заседание редколлегии. Еще через неделю я был в Одессе, в кабинете главного редактора. Здесь сидели члены редколлегии – редакторы студии и одесские писатели. Никто из них не смотрел в мою сторону, но когда началось обсуждение сценария, я внутренне даже ахнул…

Честное слово, я и Жора пропили тогда в Одессе аж тысячу рублей. Мы кутили с моряками, с рыбаками, с работниками киностудии и еще бог знает с кем! Я полюбил за это время Одессу, я был на ее Привозе, на ее пляжах и на ее кораблях. Я был в ее ресторанах, на знаменитом Приморском бульваре и на знаменитой Потемкинской лестнице. И за все время моего пребывания в Одессе я ни разу и нигде не слышал украинской речи. Одесский жаргон – эдакую гремучую смесь русско-украинско-еврейского воляпюка – пожалуйста, сколько угодно! Но чистую украинску мову – никогда.

И вдруг… все обсуждение моего сценария пошло на украинском языке! Оторопев, я затаил дыхание – мои украинские рецензенты на чистой украинской мове несли мой сценарий буквально по кочкам, разносили в пух и прах каждый эпизод и каждую сцену! Слушая их, даже человек, не знающий по-украински ни слова, легко бы понял, что судьба моего сценария предрешена – это бездарное, безграмотное и совершенно непрофессиональное произведение абсолютно не нужно Одесской студии. Хотя его автор, возможно, и окончил ВГИК, но в морской теме он понимает столько же, сколько в украинской мове. И вообще позиция дирекции студии кажется членам редколлегии по меньшей мере странной! Как можно заказывать сценарий на морскую тему какому-то москалю, когда такой сценарий должен писать только местный, одесский письменник, хорошо знающий быт моряков и живущий их жизнью…

Когда они выговорились и обратили ко мне свои усталые лица, озаренные тайным торжеством их великого гостеприимства, наступила очередь моего ответного слова. В этом последнем праве автора, приговоренного к четвертованию, они не могли мне отказать. Я встал, почесал в затылке свою еще рыжую в то время голову и заговорил… на чистом, прозрачном и высоком языке великого Шевченко, Коцюбинского и Олеся Гончара. Потому что с третьего по восьмой классы я учился в полтавской средней школе

№ 4 и имел круглые «отлично» по украинскому языку и литературе. Конечно, с тех пор прошло много времени и я уже порядком подзабыл украинский. Но пока они громили, кромсали и топтали мой сценарий на своей замечательной украинской мові, все вирши великого Кобзаря и проза Гончара всплывали во мне грозно и торжественно, как подводная лодка всплывает для торпедной атаки.

Мой залп был негромким, вежливым и оглушительным.

«Щирэ дякую за вэльможну крітику», – обращался я к каждому из них и на высоком украинском объяснял им суть и смысл каждого раскритикованного ими эпизода, обещая при работе над вторым вариантом сценария учесть все их творческие замечания.

Мертвая пауза была мне ответом.

Красотка Нина, которая вела протокол этой экзекуции, застыла с авторучкой, поднятой над листом бумаги.

– Гмм… – прокашлялся наконец главный редактор. Затем поскреб свой лысеющий затылок и сказал по-русски: – Я думаю, раз автор это… ну, готов, так сказать, учесть наши замечания, то мы можем-таки принять этот сценарий.

С тех пор я никогда – ни от главного редактора, ни от остальных членов редколлегии Одесской киностудии – не слышал ни одного украинского слова. И даже сейчас, в 2003 году, когда мы гуляли с Володей Двинским по Одессе, я, напрягая память, поднимал с ее дна свою украинску мову, чтобы щегольнуть ею в разговорах с бедрастыми продавщицами на Молдаванке, Дерибасовской и Восьмой станции Фонтана. Но в ответ всегда звучала только русская речь – даже сейчас, когда Одесса стала совершенно украинской, а Леонид Кучма на последней книжной ярмарке в Москве презентовал свою книгу «Украина – не Россия». Что он этим хотел сказать, я не знаю, поскольку книгу еще не читал. Но когда одесские журналисты попросили меня во время пресс-конференции написать свое главное пожелание Одессе, я написал им очень коротко: «Вернуться в Россию».

# Признание

Позвольте признаться: название «Мой проклятый “пятый параграф”» – вынужденное, поскольку то, что вы сейчас прочли, – только часть книги «Личная жизнь», которую я начал писать давно, но, написав о своем детстве, тут же и бросил, обнаружив, что всю свою остальную жизнь давно раздал персонажам своих романов и киносценариев.

Но раз уж «Личная жизнь» дописана не будет, а превратилась в коротенькую повесть «Пятый параграф», то и закончить ее нужно в соответствии с этим названием.

Проходя в Эстонии службу в доблестной Советской Армии в качестве рядового, а потом и ефрейтора гаубичного полка, я по ночам писал стихи и рассказы и однажды послал их на творческий конкурс в Литературный институт и во ВГИК. Я знал, что из-за моего «пятого параграфа» меня не примут ни туда ни сюда – моему знаменитому в Полтаве отцу его друг военком доверительно сообщил, что есть список элитных вузов, куда евреев запрещено принимать вообще, а для всех остальных вузов установлена однопроцентная норма, и всем вузовским кафедрам истории КПСС дано на этот счет специальное указание. Мол, поэтому меня и не приняли ни в Азербайджанский, ни в Ленинградский университеты.

Литинститут и ВГИК были, конечно, суперэлитными вузами, и почему я послал туда свои стихи и рассказы, я до сих пор не знаю. Наверное, просто с отчаяния.

Каково же было мое изумление, когда я и из Литинститута, и из ВГИКа получил письма о том, что прошел творческий конкурс и допущен к экзаменам!

Вернувшись из армии, я, конечно, первым делом ринулся в Литинститут, тем паче что Союз писателей Азербайджана выдал мне рекомендацию как молодому поэту, который активно печатается в республиканских журналах и газетах. На время вступительных экзаменов меня, как и всех приезжих абитуриентов, поселили в общаге Литинститута, но мне повезло больше всех – моя комната оказалась рядом с комнатой Новеллы Матвеевой, которая за неимением московской прописки и жилья проживала там на правах аспирантки. Поэтому замечательные песни Матвеевой я слушал от автора под ее же гитару и нашу общую выпивку. А потом, когда я сравнил песни и стихи Новеллы с творчеством поэта, у которого мне предстояло учиться в Литинституте, я забрал свой аттестат из Литинститута и отнес его во ВГИК.

Правда, в том, 1959-м, во ВГИК меня не приняли. В точном соответствии с предсказанием полтавского военкома меня срезали на экзамене по истории СССР. Подробности моего второго, в 1960-м, поступления во ВГИК, на сценарный факультет, я описал в книге «Игра в кино», повторяться не стану. Поясню только, что конкурс был сумасшедший – больше 50, наверное, человек на место, и что я был принят в мастерскую легендарного «Жози» – Иосифа Михайловича Маневича, бывшего когда-то главным редактором «Мосфильма», профессором, у которого учились Володин, Валуцкий, Соловьев, Добродеев, Розен и другие знаменитые драматурги.

Позже я понял, как и почему я был принят во ВГИК вопреки моему «пятому параграфу». Дело в том, что в те годы во ВГИКе преподавали Ромм, Габрилович, Юткевич, Вайсфельд и другие корифеи кино с тем же пресловутым «параграфом». Напрочь запретить им принимать евреев было не комильфо. Поэтому одного еврея на курс все-таки для отвода глаз пропускали. Я оказался таким счастливчиком, но решил, что всё – я уже в кино, можно не учиться. На втором курсе я стал пропускать занятия, занимался бог знает чем, получал «неуды».

И однажды после занятий Иосиф Михайлович отпустил всю нашу мастерскую, а меня оставил. Причем оставил не просто так, а еще запер дверь аудитории и только после этого подошел ко мне вплотную и сказал:

– Как ты смеешь плохо учиться? Ты знаешь, сколько евреев могли бы учиться на твоем месте? А я взял тебя, хотя мог взять Шехмана, Вигдорову, Гинзбурга или еще сотню! Но у меня было только одно место для «пятого параграфа», и я взял тебя. Ты обязан учиться за них за всех, ты это понимаешь?

* * *

…Иосиф Михайлович умер в 1976-м. Недавно его дочери издали книгу его мемуаров «За экраном» и подарили мне один экземпляр. Я стал читать и с изумлением в дрогнувшем сердце обнаружил, что, перечисляя своих учеников, он называет меня сразу после Василия Соловьева и Геннадия Шпаликова.

**notes**

# Примечания

# 1

В «АиФ» публикации указано: «Совместно с А. Стефановичем».

психи (*евр.*).

больной на голову (*евр.*).

# 4

Тупой, недоделанный (*идиш*).